

Анатолий Жилкин

---

# Испытание верою

Москва 2016

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)  
Ж 24

**Жилкин А.**

Ж 24 **Испытание верою.** – М.: Книга по Требованию, 2016. –  
164 с.

ISBN: 978-5-519-49468-7

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может  
быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без пись-  
менного разрешения владельцев авторских прав.

**ISBN: 978-5-519-49468-7**

© А. Жилкин, 2016  
© Книга по Требованию, 2016

## Предисловие

Современное поколение россиян не сильно уважает печатное слово, классическую и современную литературу. И поэтому особенно приятно отметить, что в море разнообразной информации, многочисленных детективов и книг фэнтези, порой откровенно антирусских исторических исследований не затерялась проза сибиряка Анатолия Жилкина.

В своих рассказах и повестях, таких как «Другие времена», «Беда, когда в поле лебеда», «Кулаки», «Учитель», «Пашка», он знакомит читателей со своими героями – людьми разных возрастов и профессий, которых объединяет одно редкое качество. Это качество называется просто – настоящая, искренняя, беззаветная любовь к Родине и своему народу.

Автор часто обращается в своих книгах к теме войны. И это не случайность. Ведь война – страшное испытание для любого человека. Но война, как лакмусовая бумажка, раскрывает все лучшие и, к сожалению, самые неприглядные черты личности человека. Таков и главный герой повести «Испытание верою» Александр Ярыгин. Через его жизнь автор даёт читателю представление о том непростом, трагическом времени, когда на первое место выходят честность, порядочность, чувство долга и любовь к своей Родине. Ярыгин прост и сложен одновременно. Я думаю, что судьба главного героя обязательно тронет ваши души.

Герои произведений Анатолия Жилкина – правдолюбцы, трудяги, порой хулиганы, люди с непростой судьбой, но они совершают, как правило, добрые поступки и живут так, как велит им их совесть, – честно и бескорыстно.

Язык сибирских жителей, героев прозы А. Жилкина, – моряков, солдат, охотников, потомков казаков, провинциальных интеллигентов – удивительно чист и сочен, музыкален и точен и, слава богу, мало засорён многочисленными неологизмами и компьютерным сленгом. Такой язык лучше помогает читателю понять наше

прошлое, вспомнить свои родовые корни, освежить историческую память. А ведь общеизвестно, что, не зная прошлого и не ценя настоящего, невозможно заглянуть в будущее.

Но я уверен, что будущее у прозаика, члена Российского союза писателей, Анатолия Жилкина есть, и ему ещё предстоит не один год знакомить нас со своими новыми героями и через свои книги вести непростой разговор о любимой и многострадальной России.

*Николай Баженов, поэт, г. Усолье-Сибирское*

## Глава 1. Ранение

За спиной, будто у входа в преисподнюю, с шипением разверзлась земля. И в тот же миг страшная сила втянула внутрь тесной дыры. Грохота взрыва он не слышал – всё, что происходило вокруг, двигалось, как в замедленном немом кино. Чёрный земляной вихрь подхватил рыжие солдатские шинели, ноги в обмотках, каски со знакомыми лицами; закружил над окопом, разрывая на куски и растирая в порошок пулемётное гнездо и всех, кто только что прикуривал папиросы из отцовского портсигара младшего лейтенанта Ярыгина. Вихрь на глазах превращался в опалённое адским огнём исполинское дерево. Дерево росло – и доросло до серого неба, бурой грязью залепив поблёклое солнце.

«Вот оно как бывает: с подкуренной папироской... после пары затяжек и... и конец?..»

С неба посыпались останки пулемётного взвода. Липкая грязная тишина запечатала уши, глаза, рты... сердца: ни звука, ни отблеска снаружи; ни мыслей, ни ощущений внутри. Младший лейтенант машинально потянулся к кобуре, но тупая боль успела заморозить правую сторону тела – от виска до подмышки, – медленно, немой накатом поползла к ногам. «Ранен?.. Убит?..» — он покосился на правую руку. Руки на месте не было. Что-то там болталось на нитках, но это «что-то» не могло быть его рукой. Перебитая, посечённая десятками осколков она кое-как держалась на голубых жилках. Мокрый от крови и живой плоти рукав вот-вот оторвётся – тогда всё: его не найти, не вернуть, не приладить на место. «А руку? Где её потом искать?»

Командир пулемётного взвода, младший лейтенант Ярыгин (да просто Санёк) левой рукой бережно обернул остатки правой в подол гимнастёрки, конец подола намертво сцепил зубами. Незряче

оглянулся по сторонам и замер, оглушённый поглотившей передовую тишиной. Беззубая пасть преисподней дыхла потусторонним ему в лицо...

Он кое-как двинулся с места и медленно побрёл по чёрному лесу, опрокинувшему навзничь, в запёкшейся крови небо. От привкуса гари першило в горле; истлевшие в труху деревья горячей золой сыпались на голову; серый пепел кружил над мёртвым полем.

Ощущение обречённости валило с ног, прижимало к земле. Это первое после пробуждения ощущение останется с ним на долгие годы. «Лечь и провалиться в тартарары, уснуть и не проснуться – только бы ушла эта чёртова боль. Так и надо: лечь, скрутиться калачиком, как в детстве, прижать к груди покалеченную руку и уснуть... на веки вечные». Впереди маячила знакомая, родная фигурка.

— Мама!.. Мамочка! — испугался за мать Санёк.

— Иди за мной, не останавливайся! Иди, мой мальчик, уже скоро...

Мать шла (не шла – плыла) по зелёному в жарках и ромашках лугу, ковыль обнимал её босые ноги, небо было голубым, а воздух светлым... Он изо всех сил старался догнать маму. Но стоило ему ступить на зелёное, оно тут же превращалось в пепел. «Хочу к маме, хочу туда... на луг».

В какой-то момент ему удалось ступить на траву – все изменилось в тот же миг. Боль ушла – он стал лёгким, бестелесным. Мама подхватила его на руки, и они устремились ввысь за горизонт, обгоняя журавлиный клин... «Теперь я знаю: «там» хорошо».

Но его вернули. «Зачем?» Боль ледяным обручем сдавила грудь, в мозг снова влетали «разрывные». Они отрывали раскалённые куски черепа, и те, брызгаясь алым, падали под ноги.

«Это конец! И мне не страшно. Сколько раз я наблюдал за этим таинством со стороны, но чтобы изнутри... такое не припомню. Куда я иду? Ах да, в медсанбат. Руку не отдам! В тайге без руки гиблое дело. Мне тридцать один год! Кому я без руки?... Засмеют...» А череп стеклянно дребезжал цветными осколками – от «разрывных» не спрятаться...

...Медсанбат расположился на окраине села в глубине яблоневого сада. Две палатки до отказа набитые ранеными красноармейцами выли, стонали, матерились, плакали.

— Я уми... — только и вымолвил Санёк, нос к носу столкнувшись с санитаром и военврачом, кутившими у входа в палатку под набухавшей розовым цветом яблоней.

«Руку не тронь! Сохрани... Богом молю! Не тронь руку... Заклинаю!»

Санёк не помнил подробностей. Всё, что с ним происходило, наблюдал будто со стороны – на выпуклом, грязном экране. Он хорошо запомнил, как доктор, после того как распороли рукав гимнастёрки, предупредил:

— Не отрежем – помрёшь! С такими ранами не руку – жизнь бы сохранить.

Но Санёк не сдавался, стоял на своём, до конца сопротивлялся: «Сохрани руку! Лучше содохну... Не дам... Заклинаю!»

Врач неожиданно сдался, заключив:

— Да и как такого калечить? У него фигура – любой Аполлон от зависти лопнет! Грузите в эшелон – и в Красноярск. На моей практике и не такие чудеса случались. Бог даст – выживет! А нет – с миром уйдёт, по своей воле и со спокойным сердцем. И я грех на душу не возьму. И так рубим, пилим, калечим... Конца и края не видать этой мясорубке. Пусть сибиряк поборется за свою судьбу. Такой кого хочешь уговорит. Может, он и для «неё» какие доводы в запасе держит – такие, что нам и не снились...

На прощание доктор посоветовал:

— Молись, младший лейтенант, крепко молись!

Весь путь до Красноярска Ярыгин и через десять лет не мог вспомнить, а чтобы сразу, после приезда, не могло быть и речи. Надолго... навсегда горячей занозой в мозг вошла тягучая боль в искалеченной руке. С этой болью невозможно было совладать в одиночку. «Обезболивающие» чуть приглушали пожар, но только на время. И снова во всём теле полыхало пламя. Беспамятство – желанная передышка – это были минуты забвения, когда мирные картины родного края наполняли сердце покоем. В такие часы и восстанавливались силы – зарождалась, крепла вера. Мозг отключал чувствительные рецепторы организма, давая возможность оценить свои силы, подготовиться к принятию окончательного решения. Какое же это было испытание! Соблазн в одночасье избавиться от изматывающей боли, но потерять руку. Или же скрежеща обломанными зубами, кусая в кровь потрескавшиеся губы, плача и воя, идти до конца. И выстоять! Шанс никакой, но он есть... – он должен быть! «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Заступись. Я твой на веки вечные! Спаси, Господи!» — шептал в бреду Ярыгин.

В источающих муках, в шаге от смерти, в забытии и при молниеносных вспышках озарения в его сердце зарождалось новое непривычное восприятие жизни. Это потом он с благодарностью будет вспоминать то непростое время. Пристально, день за днём, час за часом рассмотрит его с расстояния прожитых лет, осмыслит каждое услышанное слово, интонации, жесты. И радость! Радость от той встречи будет сопровождать его всю жизнь. Пожар с раненой руки перекинется на Санино сердце.

Прожить жизнь Ярыгину было уготовано в незатихающих спорах его совести с горячим сердцем. «Вот ведь незадача: и руку сберёг, и веру обрёл», — диву дивился Санёк.

Он не отступил – ему не стыдно. Он не будет краснеть, когда наступит торжественный момент и он – с глазу на глаз, без свидетелей – предстанет пред Ним...

Их доверие за долгие годы окрепнет настолько, что подвести друг друга ради сиюминутной слабости было бы по меньшей мере кощунством. Этого не случилось. Слава тебе, Господи! Так и будет потом, а пока...



## Глава 2. Госпиталь

Накануне вечером санитарный поезд, притомившийся от многодневной гонки, остановился на конечной станции. «Красноярск!» — послышалось из тамбура. Ярыгин приоткрыл глаза. В мозгу тихонько, будто опасаясь разбудить задремавшую боль, мелькнула и сразу угасла беспрестанно точившая, как короед подсаченный ствол, коварная мысль: «Ну что, Санёк, пан или пропал?» Он вспомнил мать на ромашковом лугу и оборвал себя: «Будь что будет, скорей бы уж, что ли...»

Выгружали раненых аккуратно, со знанием дела: бережно укладывали на носилки; по трапу, из вагонов, на грузовики – и дальше. Было видно, что такая работа здесь не в новинку. Без лишней суеты, шума, понуканий медперсонал действовал слаженно и, насколько это возможно, быстро. Машины одна за другой, непрерывной вереницей, «под завязку» заполненные ранеными, отъезжали от перрона в направлении города.

С начала войны в госпиталях МЭН-49 все 10 000 коек непрерывно пополнялись тяжелоранеными. Санёк попал в эвакогоспиталь 15-15, в котором главным хирургом трудился профессор Войно-Ясенецкий.

Почти сразу после прибытия в палату вошёл поп. Санёк вздрогнул и по привычке вдавил голову в подушку, будто хотел укрыться за бруствер окопа от непонятно откуда возникшей опасности. Ему почудилось, что изувеченная рука шевельнулась и по давней привычке потянулась к груди – креститься. Ярыгина как осенило: видать, батюшку пригласили для причастия безнадежных... и его в том числе. Он оглянулся по сторонам, но «безнадежные» на глаза не попадались, а совсем даже наоборот: с появлением попа соседи по палате повеселели, оживились. «Старожилы» все как один приподнялись с коек и, размахивая перебинтованными конечностями: кто рукой, кто ногой, кто тем и другим – наперебой принялись демонстрировать свои «исключительные» способности.

Приседали на корточки, сжимали и разжимали пальцы рук, отбрасывали костыли и на прямых ногах приплясывали на месте. Один за другим красноармейцы, не стыдясь слёз, благодарили бородача в поповской рясе:

— Доктор-батюшка, приросла нога, заживает рука – впору под гармошку плясать! А они ведь, супостаты, отнять собирались! – кивали бойцы в сторону группы медиков, сопровождавших бородастого хирурга.

— Дай Бог Вам здоровья, сил, терпения и... покоя – пропали бы без Вас!

«Служу Советскому Союзу!» — гаркнул Санин сосед по койке. Как выяснится позже, «Стёпа из Одессы». Он бодренько задирает потолок и опускает на пол негнущуюся ногу. «А мне не больно и надо, чтоб она загибалась в шарнире. Я по жизни рыбак – мне впредь без надобности. Заместо шеста сгодится – глубину буду мерить на отмелях».

А доктор, стоя посреди палаты в белом халате поверх рясы, с окладистой бородой и крестом на груди, внимательно присматривался к вновь прибывшим.

— Господь вас спас! Я только волю Его исполняю. Помните об этом.

Доктор, не отрываясь, глядел на лейтенанта. Потом приблизился к его кровати, наклонился, пристально посмотрел в глаза, приложил ладонь к раскалённому лбу, ощупал пульс и резко скомандовал: «Этого героя немедленно в операционную. Он до утра не дотянет. Немедля!».

А Саньку тихонько шепнул:

— Пан, конечно, пан! Не дрейфь, сибиряк, будет тебе чем крепиться и жену свою ненаглядную чем обнять.

— Не женат я, доктор. Крещёный... это да... это так...

— А я заметил, как ты руку искал, чтобы крестом укрыться. Живая рука – к Богу тянется! Мне только и осталось не навредить – помочь тебе не сойти раньше времени, как ты мечтаешь, на зелёный в ромашках лужок. Выходит, успели мы! По всему видать – знаешь такие слова, что нам и не снились...

У Ярыгина от жара мозга шипели, будто шкварки на сковородке. В голове булькало, в ушах пузырьки лопались. Он метался, с трудом ворочая чёрными глазницами, и еле держался, чтобы не умереть прямо здесь, сейчас, в эту самую секунду. До него, сквозь завесу небытия, долетел тихий голос доктора, похожий на свежий порыв ветерка в полуденный зной на покосе. Когда взмокнул от пота рубаху охолодит прохладой, откуда ни возьмись, залетевший ветерок: взбодрит разгорячённое работой тело и, прошуршав в макушках

берёз, спрячется в укромный, ему одному известный, закуток в лесу. Он вернётся к ночи и наполнит грудь живительной влагой таёжных ароматов; успокоит, оживит уставшие мышцы; вольёт в них целительный нектар земли сибирской.

— Ты будешь жить, герой! — послышалось рядом.

Санёк улыбнулся и приоткрыл пылающие веки:

— Мне всё равно... меня убили подо Ржевом... — прошептал он.

Санёк понимал: шутит доктор, подбадривает, но почему-то сразу поверил ему. Будущее своё увидел: жену разглядел как живую, хотя познакомится с ней только через два года. С этого момента и начались чудеса в жизни Ярыгина... Последнее, о чём он подумал: «По всему видать, тут крещёных лечат. Будь что будет – устал я. Нету мочи терпеть, и сил не осталось... кончились мои силы».

Позже он поймёт, что это и был тот самый – главный! – момент в его судьбе. Эта встреча перевернёт всю его жизнь: все представления о былых ценностях поставит с ног на голову... и развеет в пух и прах...

— Срочно в операционную! — просочилось в угасающее сознание. — Молись, лейтенант! Не отпустим раньше времени – не надейся. Молись!

— Я и молитвы не помню... Как молиться? — шептал, угасая, Санёк.

— Помнишь! Я слышу – и Господь услышит.

«Неужели тут попы командуют? — усмехнулся из «глубины» Санёк. — Будет толк, если попы взялись за дело...» — и отключился...

Это потом он узнает, что владыка учил своих помощников «человеческой хирургии». Он говорил им: «Для хирурга не должно быть случая, а только живой, страдающий человек».

### Глава 3. Пробуждение

Ярыгин очнулся на третьи сутки, в субботу утром. От запаха карболки щекотало в носу, тело онемело: казалось чужим, деревянным, лишним. Измученные «потусторонним» глаза провалились в чёрные ямы и смотрели оттуда настороженно, будто вспоминали давно забытое... Тупая боль с новым, незнакомым оттенком монотонно толкала в плечо, руку, пульсировала в искаченных пальцах. Надоело ей метаться по истерзанному телу, и она изо всех сил искала выход, пытаясь вырваться наружу. Санёк осторожно прислушался к себе... внутри себя – и удивился: на сердце царил покой, в душе – тихая блаженная радость.

«Вот те на! Подсказал бы кто хоть, что ли: живой я? Или отпел меня поп в тот раз по-правдашнему?»

Воробьи на подоконнике устроили кучу-малу. Шумная ватага голодных сорванцов, не обращая внимания на раненых, возилась в двух шагах от коек, ловко выхватывая друг у дружки крошки измельчённого в крошево чёрствого сухаря. В азарте запрыгивали один другому на спины, когтистыми лапками цепко впиваясь в загривок, натужно чирикали, смешно срываясь на писк. А ухватив в суматохе заветную крошку, тут же кидались вниз, пикируя в густую листву могучего тополя. Их гомон разбудил раненых. Он и Санька вырвал из тёплых объятий забвения, вернув из полёта в бесконечное назад – в нелепое, мимолётное, конечное... Кто-то рассудил по-своему: рано, мол, тебе, Ярыгин, на покой – недомучился, недополучил, не натрясся на ухабах, не дослушал, кого надобно дослушать. Терпи! Твоё время на подходе...

«А ведь «там» не просто. Это в начале: луг, ромашки, васильки, ковыль по пояс. Дальше: глубина, безмолвие, необратимость, (не)понимание... Летишь сквозь бездну к краю бездны: не ты и непонятно с кем... Он легонько потряхнул головой. «Где же тебя носило, Санёк? Не успел ты (не) вернуться... Придётся до конца испытать». Он прикрыл глаза и затих...

...Солнце, раздвинув лохматые ветви тополя, по-хозяйски протиснулось в палату, приятно согревая лоб, щёки, глубоко – душу. За плотно прикрытыми веками, из белых точек на алом, рождались огненные всполохи и цветные шары. Они свободно перемещались в Санином космосе: из совсем мизерных разрастались в огромные, наполняя сознание розовым, зелёным, синим, лиловым. Лопались, брызгаясь. Тут же рождались новые: оранжевые, голубые, бордовые. Пылающие вползали под лоб, оживляя память, тормоша мысль. Алое, розовое, бордовое струилось из глаз, размывая края, заливая горизонты...

Санёк не забудет того полета. Необъяснимое «оттуда» будет сопровождать его до конца... в конце подхватит и унесёт навсегда. Что-то происходило с ним в тот отрезок, когда он «выпал» из земной жизни и стал «един» с кем-то невообразимо близким, но глубинно неведомым. Со временем он научится уходить вглубь – в себя. Туда, где нет и не может быть границ. Где можно ощущать себя – «вместо» себя. Где спокойно течёт время, которого вовсе нет. Оттуда не возвращаются по своей воле...

Санёк спохватился: он приоткрыл глаза и с опаской покосился на раненую руку. Ощупал бинты, дотронулся до того места, где должны быть пальцы... и с облегчением, не замечая, что говорит вслух, выдохнул: «На месте... уфф... Спасибо тебе, Господи! Не обманул поп – сохранил руку».

— Никак очнулся, полчанин? — послышалось над ухом.

Он осторожно повернул голову и увидел соседа по койке. Тот сидел на табурете, облокотившись на костыль.

— Степан! — представился сосед. — Я из Одессы, здарсьте! Ты, сибирячок, только того – не шали больше, не летай прежним курсом. Закрепись на нашем берегу – в землю зубами вцепись, матерись, пой, кричи, но в сознании. И «на таран» повремени. А то, – Стёпа изобразил крайнюю озабоченность и заговорщицки подмигнул, — нам с тобой пайку урежут... к бабке не ходи. Страшно подумать: трое суток без добавки! Обидно до слёз. Щи да каша – сила наша! В нашем, не совсем стабильном состоянии, из всех процедур эта главная – добавка! «Пороху» может не хватить для полной реабилитации. Глаза, полчанин, держи открытыми, чтоб без претензий со стороны медперсонала. Каша с топлёным маслом – это ж первое средство в прорастании наших никудышных конечностей.

— Ты глянь на него, — послышался смех из дальнего угла палаты, — старик-то всем накостылять успел. И щёки набил, аж глаза из орбит, и всё ему мало! По ихнему, птичьему рангу не ниже полковника будет!

— От силы старшина! Какое там «полковник», — возразил весёлый, с хрипотцой, юношеский голос. — Злой, горластый и с воспитанием у него явный пробел. Глотка лужёная, кулак да мат. Смотреть тошно, людей напомнил...

Воробей вытаращил на юношу круглые глазки, готовые выпрыгнуть от возмущения. Но разжать клюв не решился, опасаясь нежелательных потерь. Он крутанулся на месте, ошестинив хвост, и мелко завибрировал выгнутыми дугой крылышками.

— Ишь как перекосило, вылитый старшина. Раскусили тебя, горластый!

Воробей, давясь, кое-как пропихнул содержимое «запасников» внутрь и так расчирикался, что заглушил все обвинения в свой адрес.

— Один в один наш старшина-скупердяй. Вот порода! Хоть на передовой, хоть в тылу им всё одно: своё не упустят – из глотки, а вырвут.

Воробей презрительно покосился на раненых, подпрыгнул на месте, коротко оттолкнулся и «рыбкой» нырнул вниз, мгновенно растворившись в молоке оторвавшегося от земли тумана.

— «Хитёр бобёр»! Всем мозги запудрил, тёртый калач! Сёдня с оладушками чай будет пить. Порадует деток, и жёнке подспорье. А самому, глядишь, и послабление в известном деле. А что, заслужил внимание: вынь, как говорится, да положи что причитається. Имеет полное право!

Красноармейцы вразнобой заготовили, потом заохали, запричитали. Швы, бинты, гипсы, растяжки на раненых конечностях затрещали, зашевелились, врезаясь в живую плоть. Но разве это причина, чтобы не мечтать о сокровенном? Для русского солдата – пусть не совсем цельного, пусть из кусков на скорую руку сшитого – внимание на первом месте. Когда речь о «сокровенном», можно и на «скорую руку» потерпеть...

— Ты погляди на него, — отозвался усатый, перебинтованный до подбородка, охавший солдат, — вчерась ещё с уткой в обнимку засыпал, а сёдня «послабление» ему грезится. Тебя, Фролка, крышкой до сорокового дня прикрывать не след – только доски переводить. Всё в щепки разметаешь: не ты сам, так дух твой неугомонный. Это ты ещё к кровати привязанный почивашь, а как отвяжут доктора... Страшно представить, куда тебя нелёгкая унесёт. Нога-то только в коленке и не распрямляется – разве ж это помеха для такого молодца-удальца? Предупредить бы не мешало персонал, чтоб тебя – от греха подале – не раньше дня выписки распутали. Пушай фашист от твоего «послабления» бегают, ему сподручней вприглядку засыпать.

— Ты, Яковлевич, мои секреты не выставляй на общее обозрение. Вот повезло так повезло в одной палате с тобой очутиться. Я ночью тебя, как ты выражаешься, «от греха подале» на первый этаж спроважу. Запеленаю в одеяло и утяну по ступенькам вниз. С кляпом в пасти оставлю у дверей – санитаркам на потеху. Ты мне в блиндаже да в окопе всю плешь проел своим языком поганым. На законном лечении я тебя терпеть не стану. Я его в честном бою заслужил. Какой-никакой, а отдых-передышка. И помечтать имею полное право – ратному делу это не помеха.

— Во шпарит, как по писаному! Откуда вас занесло в наши края, полчане?

«Ага, это Стёпа», — узнал голос соседа Санёк. Все другие голоса, что доносились из разных концов, он только слушал. О том, чтобы повернуться, и думать не смел. Боялся, что боль может вернуться от любого неосторожного движения.

— Откуда? Из-подо Ржева, откуда ж ещё? Там сейчас ад крошечный. Чо-то наша «хитрость» нам же боком и выходит, хотя и немцу там не мёд. Яковлевич, ты лучше расскажи хлопцам, как ротного без каши оставил. На манер воробья сработал. И не подкопаться, и старлея «умыл»...

Михаил Яковлевич, так звали пожилого солдата, крикнул, охнул, кое-как продышался и снова крикнул. Осторожно, как бы прислушиваясь к своему нутру, начал говорить. Слово за слово и разговорился: перестал осторожничать, нащупав серединку между «больно» и «нестерпимо больно», и заскользил по ней, лавируя между швами, переломами, ушибами и прочей госпитальной чепухой.

— Ты, Фролка, не сочиняй тут: «умыл»! Ишь ты, балабол выискался. Я без задней мысли тогда, само собой вышло. Будь оно неладно, с греха чуть сквозь землю не провалился. У нас ведь как: кухня на передовую не шибко по расписанию заявляется. Ну, как и везде. А в тот раз мы сухари дня три грызли – животы к спинам приросли. Немец тоже притомился, передышку взял. Тишина в ушах – звон-перезвон. По окопам радость разлетелась, как круги на воде: кухня за пригорком пыхтит. Само собой, подкрепились мы основательно – с дальним прицелом брюхо уплотняли. А ротный с комбатом в тот день, считай, с самого утра стратегию сочиняли, притомились к обеду. То да сё, вернулся ротный черней тучи. Не всё, видать, у полководцев полюбовно... Да и откуда веселью взяться, когда людей по пальцам пересчитать. Недели не проходит, а в окопах «шаром покати», будто сквозняком солдатиков выдувает. Выхлёстывают немец – от снайперов спасу нет: чуть зевнул – и «дембель». Наши тоже в долгу не остаются: пульки туда-сюда – вжик да вжик. Он нас

не щадит, мы его прореживаем да в ихнюю Германию – кого целиком, а кого, как придётся, – спроваживаем. Сортируем друг дружку, скучать некогда.

Слышу, старшина кличет: «Тащи, Яковлевич, каши для ротного, да чтоб котелок с горкой». Я мигом: до кухни и назад. Толковый у нас ротный. Фролка, вон, не даст соврать, только интеллигентный больно. До войны историю в школе преподавал. С головой мужчина и не трус. С первого дня на фронте. Его и удивить, по большому счёту, нечем. Но я расстарался: отыскал пробел в его культурном воспитании.

Я котелок кашей утрамбовал, а сверху своей шапкой прикрыл, чтоб тепло не выдувало. Пусть, думаю, лейтенант брюхо горяченьким порадует. Забегаю в блиндаж: котелок на стол, шапку долой и стою довольный. Он «наркомовских» полкружки опрокинул, крякнул и ложкой в кашу. Потом будто споткнулся на ровном месте: прищурился, отрыгнул голодным брюхом и меня пальцем манит. Интеллигентно так подзывает. У него кулак – под каску не спрячешь, а я «без задней мысли» к нему на сближение. У меня ремень на последней дырке застёгнут, внутри весело, петь охота. А он только и «съел», что своей отрыжкой поперхнулся. Сквозь зубы цедит:

— Гляди-ка, красноармеец, чем ты командира Красной Армии травить вздумал!

Я голову склонил над котелком, присмотрелся – и ахнул! А там вши, и все как есть мои... с десяток наберётся. Разомлели, видать, под шапкой, не удержались, ну и соскользнули в котелок ротному, на мою погибель. У меня, братцы, отродясь столь стыда за один раз не образовывалось. Хотя сквозь землю... глотку перехватило. За командира обидно, и самому инвалидом остаться – ох, мало радости. Выхватываю ложку из-за голяшки – и давай своих вшей за щеку прятать. Уплетаю... нахваливаю кашу. Пузо трещит, а мне останавливаться никакого резона.

Смотрел на меня ротный, смотрел... Вижу, на глазах добреет. Отходчивый он у нас, одно слово – интеллигент! Краем глаза примечаю: обмяк кулак у командира. Он вторым глотком кружку опорожнил – и меня подбадривает: «Доедайте, доедайте, товарищ боец, своих диверсантов. За меня не беспокойтесь: мне старшина организует обед... из другой посуды». А я и не думал отказываться. Незаметно ремень расстегнул – и в темпе, пока он добрый. Как не лопнул! А какой у меня был выбор? С кашей ещё куда ни шло – какая-никакая надежда оставалась. А вот если бы он кулаком приложился, тут уж без вариантов: никакой хирург ни по каким чертежам не собрал бы... Такая вот история, братцы. Таких бы нам учителей



да поболе: мы бы повсеместно все призы брали. Старшине спасибо! Он второй кружкой меня, как щитом, прикрыл... отвёл беду.

Ротный с полгода тому в рукопашной одного фрица до смерти обнял – натурально задавил. И немцы, и мы как истуканы стояли – онемели. Этот фриц – бык быком – наш взвод в пух и прах разметал. Стольких хлопцев покалечил. Приметил, видать, ротного – и к нему. А ротный фрицев в соседнем окопе жулькает, опомниться не даёт. Потеха с ним, и тоже медведь медведем. Обернулся на наш крик, а немец тут как тут. Обнялись они крепко-накрепко, будто братья родимые. Немцы и мы по кругу выстроились. И веришь, нет: об оружии забыли, не до него... А эти двое только побряхтывают. Наш-то борец в прошлом, и немец под стать ему – тоже борец. Это мы потом узнали, что они ещё до войны друг о дружке слыхали, а встретиться на ковре не довелось. Бог миловал.

Немного погодя у немца глаза из орбит выпирать давай, потом кровь горлом хлынула. Это какую силищу надо иметь, чтоб вот так: голыми руками из человека дух выпустить! Задавил ротный немца на глазах у публики и рукопашную на нет свёл. Всё у него так: любит по справедливости. Интеллигент, он и есть интеллигент.

...Воробьёв будто ветром сдуло. Четвёрка сизых голубей упала на них прямо с неба. Не толкаясь, не суетясь, разглядывая каждую крошку, прибрали остатки черняшки. Потом, как по команде, вытянули шеи и с любопытством принялись разглядывать раненых, перекладывая головы то к одному крылу, то к другому.

— Размечтались! Ишь как морды лоснятся, отъелись на дармовых харчах. Вот и нам бы так: на крыло и до отвала, — добавил тот же молодой голос.

Резкий свист сорвал голубей в крутое пике. Наступившую тишину постепенно заполнило знакомое с детства звенящее жужжание. Это на рябиновом цвете самозабвенно трудились пчёлы. Рядом с ними здоровенные шмели, басисто гудя, медленно ворочались, тщательно проверяя каждый цветочек.

— Не скоростью берёт шмель, но прилежанием, — прокомментировал происходящее добродушный пожилой солдат, подковылявший к окну с костылём под мышкой. — Муха мухой, а на поверку мудрей человека оказалась. Трудиться надо, а не убивать друг друга почём зря. Они это поняли. Нам, видать, не до того. Никак не насытимся чужой кровушкой: колошматим друг дружку в хвост и гриву, конца-краю не видать этому смертоубийству. Остаётся вздыхать да наблюдать за «глупыми» пчёлками. Чудной мы народ, люди: бестолковый, злой, недалёковидный, по всему видать – временный.

— Мы, что ли, эту войну затеяли? — возразил Стёпа, сосед по койке. — Мы дома свои защищаем, детей, жён, стариков от истребления.

— Не о том речь, Одесса. Они на хрупком цветочке умудряются сами нектаром запастись и с соседом поделиться. Мы же не успокоимся, покуда на необъятных просторах не отыщем, кому в ухо заехать. Усёк, в чём разница между нами и ими? Они сообразили, как малым обходиться, чтоб в мире свой век прожить. Других примеров и не надо. Вот он – под самым носом гудит. Бери и пользуйся. Есть такие люди, они с виду на нас похожие, а нутром как есть пчёлки. Староверы, к примеру. Живут себе, поживают вдали от нашей суеты бестолковой. И ничего себе – не скучают без нас. Светлые люди. В вере их сила! В согласии с природой жизнь протекает. Пчёлки к ним со всех концов летят: погостить напрашиваются, а остаются насовсем. Живут бок о бок и только радуются такому соседству. Усёк, Стёпа?

— Усёк, Василий Евграфович, усёк. Нам отступать некуда, и бежать не убежишь, мы на своей земле...

— Кто бы спорил! Я о другом: научиться бы не допускать до смертоубийства, с опережением действовать. Кастрировать злодея на его территории. Где-то снова недоглядели, не успели предупредить. Вот я о чём! Надо предвидеть, просчитывать, успевать. Каких людей теряем безвозвратно: лучших из лучших! Столько горя кругом. Это ж куда годится...

— Мужики! — раздался злой окрик, — хорош о политике языки чесать! А то догутаимся – лоб зелёной раскрасят, не перевелись умельцы. Будет ещё время мозгами пораскинуть, а покуда помалкивай – целее будешь. Перво-наперво немца мордой к его хате развернуть. Вторая задача – и тоже, я вам скажу, – баб своих не подвести: лбы под пулю не подставить и ещё кое-что уберечь. Ноги, руки, конечно, аргумент, но есть кое-что ещё... – и тоже аргумент! Зря я этот самый аргумент с собой на фронт захватил. Надо было в банку цинковую запаять да в саду под яблонькой закопать поглубже. Эх, дал маху!

Солдаты дружно гоготнули, заметно оживились и наперебой подхватили мирную тему. Лица разгладились, глаза заблестели. О своих бабах вспоминали с теплом и мужицкой нежностью.

— У нас с моей Любаней к покосу радости столько набиратца, аж через край захлёстыват, — послышался знакомый сибирский говорок. — Откосимся, бывало – и в баньку. Ещё сено не скопнили, а в нас уж терпежа никакого не осталось. Потеха! Ежели Любаня хохочет на верхнем полке, веником меня понужат почём ни попадя,

сомнений никаких: дочка на свет просится – ейная подмога. Ежели меня холодной водой из кадки поливат, не сумлевайся: пацан через это дело фулиганит. Мы эти наши приметы наизусть выучили.

— И сколько их у вас с Любаней покосов-то было? — поинтересовался солдат у окна.

— Выходит семь, если по головам считать. Четыре весёлых – на верхней полке, а три — с колодезной водой из кадки.

— Силён, бродяга! — одобрительно закивали из разных концов палаты закряхтевшие от воспоминаний солдаты.

А Санёк тихонько слушал... тихонько улыбался... тихонько плакал...

## Глава 4. Лиза

— Дядя Вася, ты же пчеловод. Расскажи-ка лучше о пчёлках. Очень интересуюсь этим делом. Вернусь домой, в родную деревню, мечтаю пасеку в тайге разбить – подальше от людских глаз. Привык на войне проклятой через прицел природой любоваться, не знаю, как отвыкать буду. Вся надежда на пчёлку, им только и доверяю.

Потолок качнулся и поехал в сторону окна. Санёк прикрыл глаза и принялся считать: до десяти, дальше... до двадцати, сбился... начал снова. Потолок выровнялся: перестал раскачиваться, остановился. И почти сразу в середине груди засосало, да так, что он невольно застонал.

— Тебе что, совсем немогуту, сосед? — подхватился Степан. — Я мигом сестрёнку позову...

— Жрать охота, мочи нет, — прохрипел Санёк. — Не ровён час, помру с голодухи, — попытался он шутить, бережно прижимая раненую руку. «На месте рука, рученька моя», — тихонько радовался он. А вслух хорохорится:

— Помру – и не от ран, с голода очокурюсь. Несите скорей мою кашу с топлёным маслом.

Звучало не очень убедительно, но «попытка пошла в зачёт». Раненые по своему горькому опыту знали, догадывались: главный бой, затяжной, изнуряющий, у сибиряка-пулемётчика ещё впереди. У каждого в этом поединке своя тактика. Вот и хитрит лейтенант на сибирский манер: отвлекает, следы путает, сбить с толку пытается. Молодец! Бог даст, выкарабкается...

Санёк припомнил, как у него, при первой встрече с доктором-батюшкой, отстреленная рука сама собой зашевелилась и вроде ко лбу потянулась – «креститься удумала». «Мистика у них тут? Или чудеса творятся? Она, рука, считай, рядом со мной полёжива-

ла. Жизнь в ней еле теплилась. Какое там шевелиться, потерять по дороге боялся, кутал её да прижимал крепче!»

А доктор спокойно так заверил, убедительно:

— Всё будет хорошо, лейтенант. Живая твоя рука и неважно, что рядом покоится. Вижу, как она старается крестом тебя укрыть. Мне только и остается – вернуть её на законное место. Тут без Божьего благословения не обойтись и без чудес, как ты догадался, тоже. Молись, лейтенант!

Санёк понимал: шутит доктор, подбадривает, а поверил. Сердцем его слова принял. И молился. В бреду молитва как по писанному чинилась. Страшно становилось, когда внутри себя застревал. Издали наблюдал за тем, кого не узнать, не понять не мог...

После той встречи с батюшкой и «зачудило» в Саниной судьбе. За долгую жизнь счёт потерял чудесам. Столько их было, столько...

Обход начался сразу после обеда. Всё как в первый раз. Доктор остановился посреди палаты и замер, прислушиваясь. Казалось, он улавливал еле различимое эхо «уныния», отражённое глубиной тьмы, по сравнению с которой и смерть – спасение. А еще – мысли раненых: их переживания; тревоги; сомнения.

— Терпи и верь, Ярыгин Александр, — посоветовал доктор. — Мы успели: сделали всё возможное, на тебя надежда, не подведи...

До глубокой ночи Санёк лежал с открытыми глазами. Боялся уснуть, боялся не проснуться. Наблюдал за собой – куцом, присмирившим, не вернувшимся – со стороны, мимоходом.

«Видать, не цельный я. Какая-то часть никак не воссоединится со мной. Присматривается, наблюдает, выжидает. Настродалась. Здоровая, живёхонькая – не решится. Надо убедить вернуться. Не порядок это, когда в молодом организме неладно и согласия нет. Я брежу? — Санёк шмыгнул носом, прикусил губу. — Нет, не брежу! И слёзы – горячие. Значит, не погасла внутри печурка, горит помаленьку. А ты, «наблюдатель хренов», давай-ка вертайся на законное место. Цельному куда как веселей коротать на больничной койке, нежели порознь с собой договариваться. С кем это я? О чём?.. Точно брежу!»

Слова хирурга, его советы, обескуражили Ярыгина. Что-то новое, незнакомое, удивительное зарождалось в душе. И душа будто распрямилась: устремилась вдаль, ввысь, не желая обыденности. Кто поджидал её на пути? Неизвестно!

«Мама? Отец? Если бы ожили они и расчудесным образом оказались рядом, — мечтал Санёк. Слёзы горячими, солёными струйками вытекали из чёрных глазниц и сбегали вниз — к губам. — Солёные... Кто их подсаливает? Кто там, в потёмках моего разума, прячет от меня... меня самого? Откуда это взялось?»

По мере того как Санёк креп, успокаивался, привыкал к себе новому, незнакомому, он день за днём припомнил свою жизнь. И так к ней присматривался, и эдак. Пытался понять, почему именно его отец и мама пострадали? И не просто... а за доброту свою?

Внезапно пришло понимание: «Мир этот создан несправедливо, не так, как надо. Отсюда все беды. Не изменить его: живи, и точка...»

С тяжёлым сердцем вспоминал детство. Счастливое в самом начале и такое горькое после смерти родителей.

Родился Санёк в деревне Олонцево Киренского района Иркутской области, в крестьянской семье. Мама и отец были добрыми, трудолюбивыми и любящими родителями. Отец радовался, что у него подрастают два помощника. Старший, Васятка, всю помогал по хозяйству. И в борозде, и с косой, и запрячь, и дров заготовить... — мастак на все руки, по деревенским меркам. Санёк не отставал. Совсем «клоп», а туда же. Не желал на вторых ролях оставаться. Характер! Отец радовался:

— Год, от силы два, и нас можно смело раскулачивать. Закрома полны-полнёхоньки, сусеки от добра ломаются. Эх и заживём мы, мать! С такими помощниками, что ни день — то праздник. Не перед кем шапку ломать, нет нужды на «дядю» горбатиться. Свой коллектив под рукой — любо-дорого посмотреть!

На Дуняшку, сестрёнку, мамочка не успевала нарадоваться. За что бы ни бралась, всё в её руках «горело».

Соседи шибко переживали, завидовали:

— Уж больно ладно у Ярыгиных — без закавык — смотреть тошно.

Родители умерли рано — от тифа — один за другим. Пожалели солдата, приютили на ночь, а тот тифозным оказался. Пострадали, смешно сказать, за доброту и пострадали. Осиротели ребятишки. Васятку на скотный двор определили. Трудился пацан наравне со взрослыми, а самому к тому времени только четырнадцать исполнилось. Летом куда ни шло: на просторе, среди травушки-муравуш-

ки, васильков да ромашек за колхозным стадом приглядывал. Находил минутку погрузиться под берёзкой знакомой, глазами в синеву бездонную, слёз не стыдясь.

Зимой приходилось тяжело – не присядешь. Вилы, лопату, скребок из рук не выпускал: то в конюшне подстилку поменять, то на скотном дворе почистить, то воду, то корма подвезти. И так весь день без остановки, как белка в колесе.

— Эх, где наш «коллектив», которым отец гордился? — тихонько подвывал Васятка, спрятавшись в конюшне за старую добрую клячу по имени Ласточка. Ласточка всё понимала: она косила на пацана карим, влажным от слёз глазом и густо вздыхала. Грустила, что не вольна себе, что рано состарилась от непосильной работы, что мается в колхозе, а не летает ласточкой в чистом поле.

Дуняша нанялась сиделкой к зажиточному крестьянину. А Санька забрали соседи, добрые люди, однофамильцы, тоже Ярыгины. Помогли пристроить Саню в спецшколу для сирот. На том и закончилось счастливое детство у детей безвременно усопших Никиты и Серафимы Ярыгиных.

В своей автобиографии – позже, при поступлении на учительские курсы – Александр напишет: «По причине необеспеченности и отсутствия одежды я трижды бросал спецшколу».

Однажды, когда обстоятельства вынуждали любой ценой явиться на глаза строгому учителю, Саня достал из родительского сундука мамину кофту, отрезал ножницами рукава и пришил их к исподнему. Штаны получились «что надо», правда чересчур яркие. Оранжевый цвет привлёк внимание деревенских собак разных мастей. Но это было не самым страшным. На Санины штаны сбежалась вся деревенская детвора. Бедного Санька дразнили на все лады: дёргали за гачи, пихали в спину, роняли на землю, задирали рубаху... толкали, пинали. Обидней всего было то, что среди озверевшей толпы детей и подростков находилась она, его Лиза...

Лиза – ровесница старшего брата, Васятки. Санёк души не чаял в этой весёлой девчужке. Он влюбился в неё прошлым летом. Лиза была бесподобна: в васильковом сарафане с золотистыми завитками на висках. Он млел и улетал на седьмое небо, когда она нежно прижимала его голову к своим остреньким грудям, гладила тёплой рукой по спине, целовала в щёки и обещала подождать, пока он... «не подрастёт». Санёк точно знал, что за Лизу не пожалеет жиз-

ни. А она вместе со всеми смеялась над ним! За что так-то? Это ли не предательство?

«А может, это было предупреждение о том, что счастья в любви нет?..»

Соседи, проходя мимо несчастного мальчика, криво усмехнулись:

— Не повезло тебе, сопляк! Не лез бы Никита из кожи – не валялся бы ты в канаве в срамных штанах. Тьфу, смотреть тошно!

Сане показалось – и тогда, и сейчас, – что его не только опозорили, унизили, но и покусали. До костей обглодали, сердце до крови прокусили, шрамы оставили. Было стыдно, обидно, невыносимо больно. Он не выдержал предательства и распрощался со спецшколой.

Приёмные родители, несмотря на то что были чужими, оказались людьми добрыми и понимающими. Они помогли мальчонке. Перевезли его в соседнюю деревню, к родне. Там Санёк окончил обычную школу, семилетку. Началась самостоятельная, взрослая жизнь.

Пережитое в детстве разочарование в людях и бессилие перед обстоятельствами гнали Саню дальше и дальше от родного Олонцево.

Хоть к чёрту на рога, только бы ничто не напоминало о тех штанах и о девочке Лизе – его первой (детской) любви.

Где бы он ни жил, чем бы ни занимался – до войны и после, – везде он старался подстраховаться и всегда иметь какую-никакую копеечку про запас. Пусть со второй попытки, но он закончил учительские курсы, а потом и техникум. До войны успел поработать на руднике за полярным кругом и на золотых приисках в дремучей тайге.

На прииске он встретил Олю. «Единственную на всю жизнь» – так было.

«Два года земного счастья! И земного ли? Лучше уж не будет. Лучше могло быть только с ней. Тех двух лет хватило, чтобы выстоять сейчас. Но с чем идти дальше? Поодиночке... Вернуться к ней и на всю жизнь стать обузой? Нет и нет! Оля этого не заслужила. Это не предательство. Это защита любимого человека от преждевременной гибели рядом с... калекой...» – рассуждал Санёк, обливаясь слезами.

Дочь ссыльного белогвардейского офицера, дворянина. Умного, образованного, непреклонного, беззаветного патриота России. К стенке у лагерного начальства рука не поднялась поставить. К тому времени власть окончательно убедилась, что без «белой гвар-



дии» и старой школы суждено «им» не один год плестись в обозе мировых держав. Спихнулись — и давай собирать по ссылкам, лагерям, тюрьмам уцелевших «спецов». Гражданских, армейских, культурных, купцов, промышленников, экономистов, адвокатов, финансистов, дипломатов и прочих «врагов народа». Мало осталось «бывших», мало! Хорошо хоть так. А если бы всех в расход? Слава Богу, всех не успели!

Отец Оленьки, Фёдор Михайлович, по военному делу в «спецах» числился. Три войны прошёл. Генерал. Умнейший человек. Жена в ссылке умерла. С горя угасла, с несправедливости. Вдвоём с дочкой остались на всём белом свете. Если бы не дочь — пулю в висок, без колебаний. Не посмел! Ради дочери воздержался. Выживали — кое-как концы с концами сводили.

Фёдор Михайлович и математику преподавал, и иностранные языки, и историю, и географию, а в местном клубе театр организовал: спектакли ставил. Русской литературой по темноте и ограниченности людской из «главного калибра». Часами стихи наизусть читал, классиков без запинок цитировал. Никакие пытки, побои, желание унижить, оскорбить не унизили, не оскорбили «белую гвардию». Память вышибить? Не вышибли!

— Вот ведь натура! Одно слово — Русский! — невольно восхищались палачи. И тоже русские...

Санёк влюбился с первого взгляда. Как гром среди ясного неба: бабах! — и наповал! В тот вечер Оленька со сцены Пушкина читала. «Онегин» — «письмо Татьяны».

Таковыми они входят в нашу жизнь и следуют за нами на край света! Сам Пушкин переписал бы свою поэму под Олю, оказавшись в первом ряду на месте Ярыгина. Мрачный зал клуба светился её очарованием; глаза публики ожили и поблёскивали из глубины; узники и палачи вдруг стали похожими на единый народ. Поистине: Великая русская литература способна разбудить в человеке любовь к ближнему. Вскормленная православием, она повсеместно призывает и призывает на подвиг во имя России.

Оленька излучала свет! От её маленькой фигуры исходило святое тепло ожившей иконы. А она — это не она, а олицетворение всеобщей надежды в неминуемый справедливый исход...

— Необыкновенная! — повторял Санёк весь вечер, повторял и сейчас.

И что-то ещё – неуловимое, опасное – лучилось из синих глаз хрупкой на вид девушки. На первый взгляд – хрупкой. Она ни капельки не смущалась присутствующих. Пройдя недетские испытания за годы ссылки, выжив, насквозь пропитавшись горем, сроднившись с ним, ощутив на себе все ужасы, страхи, потери, она не сломалась. Напротив, она перестала смущаться и пасовать перед людьми в форме, запретила внушать себе уважение к ним. Смутить её мог только Бог, окажись Он в зале. Она столько ночей молила Его о помощи. И Он услышал её, – не сразу, не успел спасти маму. Но в зале не было Бога, а местные «вожди» и их приспешники её не вдохновляли...

Они любили друг друга каждый миг, как последний. Нежность, забота в каждом слове, поступке, взгляде, прикосновении. Боязнь не успеть досказать, дослушать, не успеть долюбить делали их отношения до безумия бескорыстными. Они спешили узнать друг друга так, чтобы не потеряться и, если понадобится, отыскать любимого на краю света. Кто бы мог подумать, что случится именно так: им суждено будет прожить жизнь порознь, прожить каждому на своём краю его бездны.

А штаны из маминой кофты будут преследовать Саню всю жизнь. Воспоминания о пережитых в детстве унижениях навсегда запечатлеются в его сердце. Для учителя Александра Никитича Ярыгина этот урок из детства станет отправной точкой в воспитании своих будущих учеников. Доброта, сострадание, участие, любовь – это те критерии, которыми руководствовался учитель А. Н. Ярыгин на длинном пути своей учительской практики.

## Глава 5. Михайло

— Степан Ветров, фронтовая разведка! С первых дней войны на передовой. Сколько раз к фрицам в гости хаживал – счёт потерял этой арифметике. В привычку вошли ночные «прогулки под луной». Как наркотик для тонкой натуры: чуть засиделся без дела и всё – пиши пропало, хоть караул кричи, тоска поедом заедает от однообразия окопного. Без риска душа плесневеет, в тоску впадает, начинает хворать и тихо умирать в расцвете сил.

Так рассуждал неунывающий Стёпа, Санин сосед по койке.

— Лучше пропустить свою очередь, чем родиться мимо Одессы! – на полном серьёзе рассуждал он. — «Есть город, который я вижу во сне, ах если б вы знали, как дорог, — напевал Стёпа, глядя в голубое небо, — ...в цветущих акациях город». Моя любимая Одесса, клянусь – я отомщу! За каждую слезинку наших матерей, жён, невест ответит фашист проклятый. Будет чем заняться после госпиталя. Я теперь вольная птица. На меня никакие гуманистические декларации не распространяются. А уж как финку меж рёбер пристроить я и сам, кого надо, обучу в два счёта. Эту мечту-идею я с начала войны про запас держу. Как в воду глядел: сработала моя стратегия. Руки без настоящей работы заскучали. Так что, полчане, милости прошу до моего «одесского батальона». Скучать не придётся – отвечаю. Это как к морю дикарём, зато с гидом как повезло: все достопримечательности наизусть, как «Отче наш». И временем никто не ограничивает: живи себе у синего моря, сколь душе угодно. Куда ни глянь – везде выгода для почётных инвалидов! А с инвалида какой спрос? То-то и оно – никакого. Подробности при личной беседе: с глазу на глаз, как говорится.

— А что, дело предлагает разведка. Со всех сторон привлекательное предложение, — донеслось от окна. Это пчеловод, дядя Вася, подал голос. Он даже оживился и, подхватив костыль, заковылял в сторону Стёпиной койки. — Я, считай, жизнь прожил, а на море так и не пришлось косточки погреть. Пчёлки подождут! Запи-

сывай, разведка, в свой батальон. Тебе от охотника отказываться не резон – последнее дело. И земляка моего записывай, пока он не отвык через прицел природой любоваться. Иван, ты как: готов науку о пчёлках на пляже познавать?

— Да куда от тебя денешься, дядя Вася? Записывай и меня, Степан! Полезное с приятным совмещать – кто когда отказывался? Эх, и погостим мы у тебя: долго о нас помнить будут на земле одесской.

Отказались только те из выздоравливающих, кому суждено было вернуться в свои части по причине «стопроцентного» восстановления здоровья. И то, многие из них поинтересовались: как можно будет в случае чего связаться со Степаном, чтобы влиться в его войско. Степан обещал обдумать и такой вариант мобилизации. А через пару дней представил подробную инструкцию для будущих «добровольцев». Так запутал «подходы» к своему секретному батальону, что фронтовики дружно одобрили Стёпину «мудрёную инструкцию»:

— Не придерёшься: тут конспирация на высоте! Одно слово – разведка!

А Степан и не скрывал, что не «лыком шит». За плечами у него служба на флоте: старшина первой статьи, радист первого класса. Потом разведшкола и три года во фронтовой разведке. Это вам не «щи лаптем»! В разведку отбор особый. Голова в первую очередь ценится. Черепок так варить должен, чтобы для паники места не оставалось. Интеллигентность опять же (образованность): языки, к примеру, топография, науки разные... Всё, что касается вооружения противника, способов конспирации и ведения боевых действий в тылу врага, однозначно – от зубов должно отскакивать...

...Сразу у входа в палату – с правой стороны, в углу – установлена массивная железная кровать с деревянным щитом вместо матраца. На ней, как на троне, возвышался и тихо, без движений, полёживал бородатый молчаливый мужик. «Не рядовой», – определили соседи. Что-то в его облике было такое, что заставляло «притормозить» проходящих мимо. «Запинались» люди о его взгляд: потухший, вывернутый наизнанку, устремлённый внутрь, в глубину – в себя.

Досталось мужику: руки ноги в гипсе, голова в бинтах, тело до шеи упаковано в белый панцирь из бинтов и того же гипса. Видать, что худо ему, но ни стона, ни жалоб, ни звука – будто из скалы вырубил дядю. Хирург-батьюшка частенько присаживался на краешек кровати бородача и подолгу читал молитвы, держа того за руку...

Всё шло своим чередом: прибывали «свежие» раненые, покидали госпиталь «старички». Сердечно благодарили медперсонал,

обменивались адресами, приглашали после победы в гости. И уходили, не надеясь и... надеясь вернуться.

В палате, где оказался Санёк, лежали тяжелораненные. Побывав «за гранью», не получалось вернуться прежними. Возвращались другими: «непохожими», узнавшими себя без «маскировки», не успевшими переродиться в нынешних, настоящими. Для «непохожих» жизнь теряла привлекательность в обыденности, искусственно привитые ценности и смыслы летели вверх тормашками. О том, что увидели «там», они не решались говорить вслух, при посторонних. Увиденное ошеломило глубиной простоты, удивило бесконечностью конечного. Настоящее, земное, обернулось нелепым абсурдом, а молчаливая покорность абсурду – непоправимой оплошностью. Насмешливый взгляд бездны будет сопровождать их до конца, напоминая о тленности бытия и о загадочной сути неразличимого. Этот взгляд будет неумолимо подталкивать «вернувшихся» назад – в вечные объятия непознанного.

Санёк потихоньку осваивался: привыкал к госпитальному порядку. Рука ныла: её дёргало по ночам, скручивало до хруста, растягивало до треска, но это не в счёт. С такими неудобствами можно дюжить сколь угодно долго, тем более аппетит день ото дня только нарастал. Степан посмеивался и каждый раз приносил соседу чего-нибудь вкусенького на добавку. Они крепко сдружились. Частенько секретничали по ночам: вспоминали мирную жизнь, мечтали о ней, веря, что после победы жизнь наладится – станет лучше, честнее, благоразумней.

— Мечи кашку, сибиряк, набирайся силёнок. Наше дело молодое, нас со счетов рано списывать, мы ещё на похоронах у Гитлера гопак спляшем.

Однажды вечером Саня поинтересовался у Степана:

— Стёпа, ты тут всё разведал, расскажи о нашем хирурге, что тебе известно о его житье-бытье? Почему он врач и в рясе? Что подвигло его принять церковный сан? Дело это нешуточное. Тут причина должна быть ох какая веская. Жуть берёт, как представишь себя на его месте.

Степан, прикинув что-то в уме, согласился, подумав: зачем скрывать от друга историю человека, который во второй раз подарил ему жизнь.

— Я не против, но информации с «гулькин нос» и ту не проверить. Кое-что узнал по своим каналам, разумеется, но это мелочь. Сам извёлся, голова кругом – скоро на выписку, а я о хорошем человеке ни сном ни духом. Эх, Санёк, о таких людях песни складывать да петь на городских площадях, а мы рта раскрыть боимся.

Спросить не у кого. Все как ошпаренные тикают, стоит только заикнуться о нашем Луке – о судьбе его поинтересоваться. Кого ни спросишь, все врассыпную. Руками машут, глаза прячут и сломя голову... От одного имя «Лука» всех в дрожь бросает.

В углу, на «троне», зашевелился бородатый мужик. Его за последние пару недель кое-как «распеленали»: высвободили большую часть могучего тела из глиняных оков. Степан по такому случаю раздобыл «полковничьи» костыли и примострячил их в изголовьях кровати со словами: «Это тебе, дядя, от благодарных соседей. За два месяца ни стоны от тебя, ни плача, ни оха, ни аха. С тобой в разведку ходить – милое дело. Без парашюта, я извиняюсь, в тыл можно забрасывать – из тебя звука наружу не выйдет. Весь из терпежа состоишь. Это тебе награда за твою железную натуру».

— Могу просветить, что касается жизни нашего священника-хирурга. — Не прозвучал, прошелестел надтреснутый голос. Вроде ветка сухая под осенней листвой предательски щёлкнула – и в тот же миг замерла жизнь, остановилось время. Стёпа от неожиданности аж на месте подпрыгнул:

— Заговорил! А мы тут гадали: немой или с перепугу молчит дядя? А он, ишь ты, притаился в засаде – момента ждёт. Как звать-величать, человек два уха? Прости меня, дядя, Христа ради. Это я от переживаний и полноты чувств! Сколько раз по ночам прислушивался – думал готов «борода», затих навеки. Ты даже снится мне стал. Вот ведь напасть-то. Я с вечера причипурюсь – мечтаю во сне с радисточкой нашей повидаться – глаза жмурю, аж лоб трещит. А ко мне в полночь бородатый сосед в гости ломится и всё норовит протезами облапить. С тех самых пор с костылём не расстаюсь: в обнимку засыпаю. Не до радисток, от тебя бы, дядя, в потёмках отбиться! — «травил» повеселевший Стёпа.

В палате в тот момент только Степан, Санёк да бородатый и остались. Все, кто мало-мальски передвигался, укывляли подышать свежим воздухом и на солнышко поглазеть. Соскучились без света горевать. К солнцу потянулись – к жизни.

Голос у бородатого оказался не очень: не то чтобы неприятным, но и на живой мало похожий. Из клочков будто выцветших на скорую руку смётан, эхом глухим в ушах отдаётся. Запеть вроде запел, а мелодию не помнит. Сбился. Перевёл дух и с того места, откуда сорвался, снова затянул – и снова невпопад. Но с каждым словом сильнее, твёрже звук. «Теперь уж не сорвётся — протолкнул комок. Ишь как из груди загудело», — переглянулись Санёк со Степаном.

А мужик окрепшим голосом:

— О епископе Луке готов вещать хоть с того света, — помолчав уточнил: — О Луке, сколько дышу, помнить буду и говорить.

И он заговорил.

— Прошное моё совесть мою не переживёт: оба в один день сгинут. Им друг от друга не спрятаться, не скрыться. Совесть моя зрячей родилась, но от темноты моей ослепла. Недавно прозрела: на радость, беду ли – время покажет. Но то, что справедливости ради, – тут без сомнений! И со смертушкой, видать, уговор у них (у совести с прошлым): пока не отвечу за грехи земные, туда дорога для меня заказана, – пальцем он указал на потолок. – Зовут меня Михайло, остальное знать необязательно. Не потому, что я на людях не приучен о прошлом вспоминать... а может, и потому. Прошное моё не имеет особой привлекательности: ни для меня, в первую очередь, ни тем более для вас. Если мне исповедаться, то не каждый поп на ногах устоит до конца моей исповеди. Такое оно у меня – моё прошное, пропади оно пропадом. Теперь уж ничего не изменить, да и поздно – и надо ли?

Я ведь нашего Валентина Феликсовича – доктора – с 20-х годов, ещё с Ташкента, знаю, а его биографию лучше своей вызубрил. Меня ночью разбуди – я о себе не всё вспомню, а о нём без запинок отчеканю. Всю душу он из меня вынул своим жизненным примером. Перетряс её родимую, будто в родниковой водице отстирал, и назад вложил. Только я очень сомневаюсь, что мою мне вручил, а не подменил на душу монаха-отшельника, а тому мою вручил – для «переплавки». Намучилась она со мной.

Судьбу в руки вручил – мою судьбу. Это ли не наказание? Святой человек епископ Лука. А жизнь его – пример для нас.

Знаю точно: кто бы с ним ни пересёкся на жизненном пути, прежним уж не станет. Ты и не заметишь, как он в тебя Слово Божье посеет. Ты только по прошествии времени начнёшь удивляться, глядя на себя. Вот те раз! – удивишься: вместо того чтобы очередного «злодея» к стенке поставить, ты его самым расчудесным образом на волю отпустишь да ещё узелок в дорогу сгоношишь. Или, например, на допросе с другим несчастным так разоткровенничаешься, так проникнешься в судьбу его никудышнюю, что и не заметишь, как своим платком сопли ему утирать начнёшь. А потом также незаметно, вместо того чтобы хватать да сажать, ты вдруг просыпаешься командиром штрафной роты. Без малого год на передовой. Головы не поднять, а ты счастлив, спасу нет. И не заманить тебя никакими пряниками в твою прежнюю жизнь. Намекни мне о таком раньше – пулю бы «на раз» схлопотал. Это всё он, наш Лука: сеет и возвращает, сеет и возвращает.

Ну это так – вместо предисловия. А сейчас слушайте, запомните и не пытайтесь делать вид, что это вас не касается. Не получится!

И ещё крепко запомните: для вас я глухонемой, контуженный, убогий, бородатый молчун. Будут спрашивать, а они будут... этого разговора никогда не было. Запомните: никогда!

Будем считать, что это моя первая проповедь. Так и запишем: в полку «сеятелей» одним больше!

Он посмотрел в открытое окно и тихо молвил:

— Лука, я помню: рука протянута – мой черёд принять руку...



## Глава 6. Проповедь

Было забавно и трогательно наблюдать за тем, как обездвиженный неделями человек заново приручает своё тело. Михайло, прислушиваясь к ощущениям в заостеневших суставах и с опаской присматриваясь к перебинтованным ранам, легонько потягивался, пытаясь распрямиться во весь рост. Широченная госпитальная кровать с деревянным щитом вместо матраца под его могучим телом казалась детской кушеткой. После нескольких попыток, выдохшись, безразличный ко всему на свете он притих, смирно полёживая с закрытыми глазами. Морщинки на лице то разглаживались, то снова сбегались в частокол у переносицы, то лучиками от уголков глаз разлетались к вискам. Он улыбался, хмурился, снова улыбался, чуть заметно покачивая головой из стороны в сторону.

Наконец заговорил. На этот раз голос звучал тихо, отрешённо, с грустной иронией и горьким сожалением. Так говорит человек лишённый всяческих иллюзий: привыкший жить внутри чужой тайны, ставший неотъемлемой частью её, смилившийся не с собой – внутри себя.

От его слов волосы на голове шевелились. А он говорил и говорил, стараясь освободиться от непомерного груза. Сначала запинаясь о слова, потом еле поспевая за ними, меняясь на глазах по мере того, как глубже и глубже погружался в себя: незнакомого, чужого, потерявшегося. Чем дольше он говорил, тем становилось очевидней, что «тайна» – это их общая судьба: Михайло и епископа Луки. Судьба, познавшая страх, предательство, лицемерие, безверие, разочарование. А тут появился шанс покаяться – призрачная возможность вернуться в «начало»; туда, откуда всё и началось; и страх, и предательство, и лицемерие, и безверие. В «начале» встретиться с собой: с глазу на глаз, без свидетелей. Попытаться понять себя простого... не придуманного. Люди выдумывают много лишнего: возможно, от слепоты своей, от желания отличаться от других, от страха потерять себя среди всех, от боязни забыть себя...

Временами казалось, что говорил вовсе и не Михайло, а кто-то другой – за него; это походило и на исповедь, и на проповедь одновременно. Постепенно он раскрывал суть изнанки своего двойника, привыкшего на всё смотреть издали, чужими глазами, который чуть было не погубил его душу, годами отравляя её ложью. Мельчайшие подробности десятилетней давности он помнил наизусть.

Михайло погрозил кулаком в сторону двери:

— Не с той стороны мир взялись рушить, не с той перестраивать. С чёрного хода вошли – с запретной стороны, неведомой простому человеку. Людей смутили, от веры отвернули, сами с толку сбились. В ереси захлебнулись, душу за понюшку табака продали. Людей божьих узнавать перестали, от святости бежим, сломя голову. О расплате не вспоминаем. Наивные. Надеемся, что спросить с нас будет некому. Как бы не так – придёт время и каждому воздастся по делам его. Небесная канцелярия без выходных работает – промашек не допускает. У них там всё по полочкам – и ангелы, и грешники – вместе и порознь. Не нам решать, кого по какую сторону оставить. Все чего-то боимся, грозим друг другу несчастьями, распаляя свои страхи, боимся того, что сами и делаем, – своих мыслей и слов. Чем больше безумных идей в воспалённых мозгах, тем дальше и дальше от истины удаляемся. «Начало» проскочили, – нарочно и проскочили, – жизнь упростили до примитива, бегом живём. Мечты людские в чашке с баландой утопили. Тяжёлый дух на нашей стороне: серой воняет, кровью и смрадом. Многие неладное заподозрили – обозлились! Только не туда злорадия. Друг против друга злятся; не сообразят, что все виноваты: и умные, и глупые. Им ложь подсунили, а они с радостью за неё ухватились...

Стёпа и Санёк сидели как заворожённые, не смея шевельнуться. Сердца почуяли опасность: как набат с неба – оглушил. В груди этот гул эхом откликнулся: «Вот оно как: разными дорогами ходим, а мимо не проскочить – не получится. Один на один с собой придётся решать. Вот оно как».

— Ну, что присмирели, полчане? Это вам не с фрицем в рукопашной: тут зверь пострашней будет. Он вроде свой, а приглядишься... ослепнешь, покуда разглядишь... и не разглядишь, а ослепнуть – ослепнешь. Мы ведь с нашей идеей «о мировой революции» научились своих «сеятелей» взращивать. Вот только сеют они порченные семена; прорастают из них неживые всходы. Нового человека культивируем. Веры в нём ни на грош, зато ересь до макушки напичкан; в «примитиве» ему вольготно живётся, потому что сам он – «при-ми-тив». Рабочие, по большому счёту, не ради

того революцию поддержали, чтобы улучшить своё положение, а потому что им со стороны внушили безумную мысль: взять в свои руки заводы, фабрики и вообще всю власть в стране. И что из этого вышло? Правильно: Хаос! Обитель Антихриста! Простое, ясное исчезло, отовсюду непонятное вторгается. Люди появились неприятные. О любви к ближнему, о сострадании, о добродетели речи не идет. Глухих культивируем, слепых, равнодушных. Из камня вырубам, из бронзы отливаем. По живому пашем, в бороздах крови по колено. Вопли, стоны отовсюду. Не слышим, не замечаем – не желаем замечать. Выходов не дожидаемся – и по выходам пашем. Историю государства Российского кровью пишем.

И в это смутное время находятся люди, которые осмеливаются пойти наперекор: зовут назад вернуться, к «началу». Подобно доброму самаритянину: людей утешают, раны исцеляют душевные, слёзы утирают... рядом с отвергнутыми, униженными живут.

Силы не равны. Но если, благодаря им, не прозреем – сгинет люд православный. Без веры мы обречены! Пустыми глазницами на небо глядим – пустоту и видим; где правда, где ложь – слепцу всё едино.

Мне повезло: я с таким человеком повстречался – прозрел! И вам повезло, и тем, кто за вами идёт, – благодаря вам тоже прозреют. Ну вот: на расстрельную статейку наговорил, а на сердце песня – легче дышать стало. Смерть не так страшна – все умирают. В темноте век прожить тошно...

Со стороны казалось, что в этом железном мужике уживаются два непохожих друг на друга человека. По совсем неприметным признакам – скорей интуитивно – Санёк чувствовал, что эти двое, непримиримые враги в прошлом, вот-вот сольются во что-то единое, несокрушимое. Удивительное дело: этот опасный человек изучал любовь!

Наверное, так и формируются сильные натуры. Именно формируются! Должен быть безукоризненный (бесстрашный) пример – образец для подражания. Будто сосуд, до краёв наполненный любовью. Испив из него, ты умираешь навеки ради того, чтобы родился другой – «непохожий» – и похожий на тебя человек.

## Глава 7. Лиха беда начало

Михайло, помолчав, неожиданно обратился к Степану:

— Степан, расскажи о нынешнем житье-бытье епископа – мне шибко интересно, – а уж потом я о том, что знаю и что помню. Мои истории из прошлого, а мне не терпится узнать, как он сейчас? Догадываюсь, что не просто живётся божьему человеку. Расскажи, Стёпа, прошу...

Степан откашлялся. Он, как и Санёк, нервничал от услышанного. Затем по-военному, чеканя фразу за фразой – будто с задания вернулся, – приступил к докладу:

— Живёт наш доктор-батюшка при госпитале, в камерке дворника. Такая небольшая комнатуха, вся обстановка в ней – кровать, стол, стул и топчан. В углу иконы, перед ними лампадка тлеет. Через маленькое окошко видна тыльная сторона деревянной лестницы в парадном. Комнатуха как раз под крыльцо втиснута. Апартаменты для каторжанина – будь они неладны, наши «органы». Доктор-то натурально каторжанином числится. Вот ведь какая заковыка: учёный, профессор, хирург, руки золотые, а они его в чулан с мышами и швабрами. Ни стыда ни совести, унижить для них – это первое дело.

За что? — спрашивается. А за то, выходит, что каждая капля его кровушки нашей верой православной пропитана.

Пожилая санитарка – она с первого дня при нём – мне рассказывала: «Валентин Феликсович – хирург от Бога. Он такие операции делает, которые никто не умеет: кости, суставы из осколков складывает, молитвы читает, и они срастаются. А как его больные любят? Это и мы знаем!» По её словам, врачи, санитары, медсёстры считают Валентина Феликсовича помощником Бога на земле.

И что в этом плохого, противозаконного? Людей спасать – с того света да на этот возвращать? С каких пор эта услуга у нас под запретом?.. Михайло! — обратился Степан к мужчине. — Если ты что-то знаешь такого... рассказывай, не стесняйся. Не трави душу. А то

как-то не по себе от слухов всяких, шушуканий по углам. Может, старушка напутала чего? Говорю же: проверить никакой возможности. Тут не фронт. Это там за передовую сбегал, языка стреножил – и никаких к тебе вопросов. Или пока мы на фронте кровь проливали, тут – в тылу – какая другая передовая образовалась?

Было понятно: хитрит Стёпа, не спешит с откровениями, мало ли...

Михайло тягуче вздохнул, приподнялся на кровати, укладывая поудобней израненное тело, покряхтел, наконец, успокоился. Полежав с минуту без движений, отдышался, потом кивнул, приглашая друзей придвинуться ближе.

По мере того как он один за другим излагал факты из жизни епископа Луки, казалось, что он всё дальше и дальше удалялся от собеседников, исчезал из виду в далёком прошлом. Он вроде проверял себя. Смутное, медленно наползавшее, досадливое чувство зудело где-то глубоко, мешая ему сосредоточиться. Он снова и снова вспоминал, перебирал свои грехи; прикидывал, сколько у него времени и что нужно сделать в оставшееся. Всё вокруг ему казалось фальшивым, теряющим здравый смысл, готовым разразиться невиданной катастрофой, взрывом, за которым на земле воцарится мертвая тишина... пустыня.

В воспоминаниях он устремился туда, где его жизнь и жизнь епископа непрерывно пересекались, не слыша, не замечая, калека и раня друг друга.

Жутко было наблюдать со стороны, как они спорили. Михайло задавал вопросы, приводил какие-то аргументы в своё оправдание и в пользу Луки, а в конце, встав на сторону епископа, начисто отменял все до единого свои доводы.

— Он ведь меня сразу узнал, — продолжал Михайло, — меня и мать бы родная не признала, а он через столько лет... и обрадовался, как старому приятелю. Другой бы на его месте придушил подушкой или чиркнул скальпелем во время операции, с него и взятки гладки, никто бы и не заподозрил. В сутки по десятку операций делает! Не я на его месте оказался, прости меня, Господи! Столько горя от меня принял, столько! Дикость иронии заключается в том, что «творцом» кровавой трагедии снова оказался человек. Воистину революции вершат люди ни на что более непригодные.

В такие минуты лицо у Михайло менялось до неузнаваемости. Из самых тёмных закоулков души вдруг появлялся двойник. Он разглядывал Саньку и Степана такими глазами – от его взгляда у издавших виды фронтовиков каменели сердца. Мгновение – и Михайло успокаивался: глаза оживали, теплели; двойник растворялся; всё возвращалось на свои места.

— А он каждый вечер, ночь ли: сам с ног валится от усталости, ему бы отдохнуть лишний часок, так нет же – подсядет в изголовья, руку на грудь положит и читает молитвы, а между молитвами жизнь свою пересказывает. Я от его рассказов помирать передумал, устыдился своих болячек. Подумаешь, невидаль какая – ранение. В плащ-палатке меня вынесли с передовой: санитары по кусочкам собирали, ничего не проглядели, всё подобрали. Спасибо им. Так прямо из плащ-палатки и вытряхнули на операционный стол. Лука три подхода сделал – и все в масть! Два месяца вверх тормашками отвалился: в тепле, заботой окружённый, вниманием. Не каждому подфартит на таком курорте отдохнуть. И тут, считай, повезло.

Я нашего хирурга-батюшку без малого 20 лет знаю. Благодаря нашей революционной бдительности он эти 20 лет по тюрьмам да по каторгам скитался, в том числе и по моей милости. Молился за нас, дураков, верил, что прозреем в конце концов, на милость Божью уповал. Позор на наши головы, позор! Никакой пощады нам и оправданий!

Дальше Михайло рассказывал, будто с конспекта читал. Он наперечёт помнил даты, города, деревни, поселения, события, имена, фамилии, должности, звания. На память пересказывал историю епископа, содержания доносов, протоколов допросов. Кто и что говорил, как себя вёл в той или иной ситуации. И вся эта «карусель из человеческих пороков» вертелась вокруг судьбы одного человека, нашего доктора. Голова у Михайло варилась – с этим не поспоришь.

— Начнём, пожалуй, с Киева – с 1898 года... — объявил он.

— *Итак, выпускник Киевской художественной школы Валентин Войно-Ясенецкий, которому пророчат будущее успешного художника, неожиданно бросает живопись и поступает на медицинский.*

Причина, с его слов, такова: «Я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей». И решает стать земским врачом, деревенским мужицким врачом, чтобы помогать бедным людям. Как вам, хлопцы, такой разворот? И так у нашего Валентина Феликсовича всю жизнь – из огня да в полымя...

С начала войны с Японией его отправляют военным хирургом в Читу. Вчерашний студент делает сложные операции на костях, суставах, на черепе.

Как такое возможно? Не имея достаточной практики – и такие операции! Никто не мог вразумительно объяснить эту его способность.

В Чите Валентин Феликсович женится на сестре милосердия, работавшей прежде в Киевском военном госпитале, где её

называли святой сестрой. После Читы, до окончания войны, переезжает в Ардатовское земство Симбирской губернии, затем – в село Верхний Любаз Фатежского уезда Курской губернии. Много оперирует, да так успешно, что к нему в маленькую больницу идут больные со всей округи, из других уездов Курской губернии и соседней, Орловской.

В больницах не хватало бинтов и ваты. Он использовал подручные средства. Например, женский волос, чтобы зашить рану, гусиное перо для трахеотомии, чтобы человек не задохнулся. Это ли не чудеса? В то время главным бичом русской деревни была трахрома. Большинство хирургов знали, что эта болезнь излечима только на ранней стадии, и никто не брался оперировать уже ослепших. Никто, кроме земского врача Войно-Ясенецкого.

«Был такой случай, — вспоминал Валентин Феликсович, — молодой нищий, слепой с раннего детства, прозрел после операции. Месяца через два он собрал множество слепых со всей округи и все они, длинной вереницей, пришли ко мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления».

...В 1910 году Валентин Феликсович осел в Переславле. Здесь он одним из первых делал сложнейшие операции на сердце и мозге, на желчных путях, почках, желудке, кишечнике. Прекрасно владея техникой глазных операций, он многим слепым возвращал зрение.

«В Переславле пришло мне на мысль, — вспоминал он, — изложить свой опыт в особой книге «Очерки гнойной хирургии». И тогда, к моему удивлению, во мне появилась крайне странная мысль – когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа. Быть священнослужителем, а тем более епископом, мне и во сне не снилось».

К тому времени В. Ф. успел написать и защитить в Москве докторскую диссертацию.

В Переславле тяжело заболела его жена Анна. Скоротечная чахотка (туберкулёз).

В 1917 году он решает переехать в Ташкент на должность главного врача ташкентской городской больницы. У Войно-Ясенецких к тому времени уже четверо детей.

Михайло помолчал, потом поднял указательный палец и уточнил: — С этого момента и началось наше противостояние: бессмысленное и жестокое со стороны ОГПУ, бесстрашное и бескомпромиссное со стороны доктора-священника Луки Войно-Ясенецкого.

... В 1919 году в Ташкенте вспыхнул военный мятеж. Несколько месяцев шли уличные бои, а потом начались массовые показа-

тельные репрессии. В железнодорожных мастерских круглосуточно заседала комиссия ревтрибунала. В длинных списках напротив фамилий ставились кресты – и люди исчезали. Вскоре в этом списке оказались имена главврача городской больницы Войно-Ясенецкого и его завхоза.

Спасла Валентина Феликсовича чистая случайность. В коридоре, у самой двери в «допросную», его встретил высокопоставленный чекист. Он знал Войно-Ясенецкого как знаменитого хирурга и сумел спасти его от неминуемой расправы.

А через несколько месяцев не стало Анны, она умерла. Валентин Феликсович остался с четырьмя детьми. Старшему из них было 12, а младшему 6 лет. Его спасло то, что операционная сестра Софья Сергеевна Белецкая, которая недавно похоронила мужа и была бездетной, без колебания согласилась заменить мать осиротевшим детям.

А Валентин Феликсович в очередной раз круто изменил свою жизнь. Его шаг можно было расценивать как вызов «здравому смыслу».

...После декрета об отделении церкви от государства в стране началась массовая антирелигиозная кампания. Но террора показалось недостаточно: было запущено изощрённое оружие – церковный раскол. Для этого в недрах ОГПУ создали так называемую живую, или обновленческую, церковь. Обновленцы инициировали собрания мирян, где обсуждалась деятельность епископов и некоторых из них смещали. Врач Войно-Ясенецкий выступил с речью на таком суде над епископом Ташкентским Иннокентием (Пустынским). И народ прислушался к его словам. Владыку Иннокентия оправдали. После съезда владыка подошёл к Валентину Феликсовичу и сказал: «Доктор, вам надо быть священником».

После революции это была одна из самых опасных профессий. Расстрелы начались сразу – чуть ли не на следующий день. 10 000 священнослужителей уже расстреляны и 20 000 гниют в лагерях.

И в это время профессор Войно-Ясенецкий принимает сан священника, зная, что он тем самым снимает с себя защиту, которую ему давала слава гениального хирурга. И обрекает себя на аресты, ссылки и, возможно, смерть.

Уже в ближайшее время – во время литургии – он был рукоположен во иерея епископом Иннокентием.

Ему пришлось совмещать своё духовное служение с чтением лекций на медицинском факультете. Лекции он читал в рясе с крестом на груди и оставался главным хирургом ташкентской городской больницы.



В операционной с тех пор у него всегда находилась икона. А на месте первого разреза священник-хирург всегда рисовал йодом крест.

...В марте 1923 года арестован патриарх Московский Тихон. По стране прокатилась новая волна репрессий. Освободившиеся приходы и епархии тут же захватывали обновленцы. Епископ Ташкентский Иннокентий в страхе бежал из города. Нужен был новый глава епархии. Выбор собора туркестанского духовенства пал на священника Войно-Ясенецкого. Отец Валентин стал готовиться к постригу.

«Преосвященный Андрей, — вспоминал В. Ф., — тайно постриг меня в монашество в моей спальне. Он нашёл, что мне подходит имя апостола-евангелиста, врача и иконописца Луки. Архиреем я стал 18 мая 1923 года».

И уже 10 июня главврач городской больницы епископ Лука (Войно-Ясенецкий) был арестован. Ему предъявили обвинения в связи с английскими шпионами и одновременно с белогвардейским казачеством. Дело явно проваливалось. Владыка тем временем мучился от бездействия. Для своей книги «Очерки гнойной хирургии» он не успел дописать последнюю главу.

«Я обратился к начальнику тюремного отделения, — вспоминал В. Ф., — с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании работы. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал «Епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии». Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божье предсказание об этой книге».

Тем временем в ташкентскую епархию прибыл епископ-обновленец. Почти все храмы города перешли к живой церкви. Владыка Лука написал в своей камере завещание к своей пастве, в котором запретил иметь общение с живоглазниками. Машинописные копии завещания разошлись по городу мгновенно. Обновленческие храмы опустели.

Из постановления уполномоченного секретного отдела ОГПУ Мартынова от 9 июля 1923 года: «Пребывание Ясенецкого Войно безусловно недопустимо в густо населённых местах с нахождением в таковых большинства верующих. Настоящее дело отправить в ГПУ Москвы с ходатайством отсылки гражданина Ясенецкого Войно из пределов Туркестанского края и заключением в лагерь сроком на 2 года».

«Поезд минут 20 не двигался с места. Как я узнал только через долгое время – толпа народа легла на рельсы, желая удержать меня в Ташкенте. Ну конечно, это было невозможно», — вспоминал В. Ф.

В Москве епископа Луку отправили в Бутырку, в камеру уголовников. Через 3 месяца следствия комиссия НКВД вынесла решение о высылке епископа Луки в Енисейский край сроком на 2 года.

Валентин Феликсович рассказывал: «Мой приезд в Енисейск произвёл сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врождённой катаракты трём слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими. За два месяца жития в Енисейске сделал немало хирургических и гинекологических операций. В то же время я вёл приём больных у себя на дому».

За два месяца в Енисейске он приобрёл невероятную популярность и как врач, и как пастырь и серьёзно подорвал авторитет местной живой церкви. Обновленческие храмы стояли пустые. Епископа Луку снова арестовали и отправили ещё дальше – в Туруханск.

Он вспомнил такую историю: «На подороже была небольшая остановка в довольно крупном селении. На берегу меня встретила большая группа ссыльных, немного поодаль стояла другая группа людей, также ожидавших меня. Это были тунгусы, все больные трахомой. Одному из них – полуслепому от заворота век – я сделал пересадку слизистой оболочки губы на веки. В Туруханске, когда я выходил из баржи, толпа народа, ожидавшая меня, вдруг опустилась на колени, прося благословения».

К епископу-хирургу выстраивались длинные очереди. Едва ли не каждый пациент просил у владыки благословения. Крестьяне раздобыли где-то архиерейский возок, покрытый ковром, и возили владыку, как положено по его чину.

Местная власть долго терпеть такое «безобразие» не смогла. Уполномоченный ГПУ объявил епископу, что ему строго запрещается благословлять больных и проповедовать в монастыре. Лука ответил, что от своего пастырского долга не откажется.

Постановлением уполномоченного ГПУ епископа Луку отправили на Ледовитый океан. Тёплой одежды у него не было. Еле доехали до первой остановки, где крестьяне с трудом отогрели замёрзшего до полусмерти владыку и снабдили его меховым одеялом.

А в это время в больнице Туруханска без его помощи умирали больные. Возмущённые крестьяне с вилами и топорами осадили здание ГПУ, требуя вернуть епископа-хирурга. Власти сдались: владыку срочно возвратили в город и больше не тревожили.

Когда срок ссылки, наконец, закончился, путь епископа Луки в возке по замёрзшему Енисею стал триумфальным архиерейским путём. Во всех поселениях его встречали колокольным звоном, и везде он останавливался, служил в храмах и проповедовал.

«В некоторых станках, — рассказывал епископ Лука, — ко мне приходили мои прежние пациенты, которых я оперировал в Туруханске. Особенно запомнился старик-тунгус, полуслепой от трахумы, которому я исправил заворот век. Результат операции был так хорош, что он по-прежнему стреляет белок, попадая в глаз».

Вернувшись в Ташкент, владыка с болью узнаёт о том, что его дети и Софья Белецкая ютились в тесной камерке и жили впроголодь. Старшего сына Михаила исключили из училища как поповича, и от него потребовали публично отречься от отца-епископа. Михаил выполнил требование...

«23 апреля 1930 года, — вспоминал епископ, — я был вторично арестован. На допросах я скоро убедился, что от меня хотят добиться отречения от священного сана. Тогда я объявил голодовку протеста. Я голодал 7 дней. Быстро нарастала слабость сердца, а под конец появилась рвота кровью».

Его обвиняли в том, что он был вредитель – врач-вредитель. Епископ Лука объявлял голодовки, обращался в вышестоящие инстанции.

Полуживого от голода и болезней епископа отправили в ссылку – барачный лагерь «Макарьеха» под Котласом. Потом перевели в Архангельск. Уполномоченный ГПУ вежливо и сердечно предложил ему хирургическую кафедру в научном институте, если он снимет с себя сан. Работать на кафедре владыка согласился, но снять сан епископа категорически отказался. Тогда ему прибавили ещё полтора года и запретили проводить исследования. Хуже наказания для него невозможно было представить. И, вернувшись из ссылки, владыка принял решение, о котором потом горько сожалел.

«В Москве, — сокрушался владыка, — я первым делом явился в канцелярию местоблюстителя митрополита Сергия. Его секретарь спросил меня: не хочу ли я занять одну из свободных архиерейских кафедр. Оставленный Богом, лишённый разума, я углубил свой тяжкий грех страшным ответом – НЕТ».

Он вернулся в Ташкент и был назначен консультантом в маленькой больнице. «Я чувствовал, — с болью вспоминал он, — что благодать Божия оставила меня. Мои операции бывали неудачными. Я заболел тропической лихорадкой, которая осложнилась отслоением сетчатки левого глаза».

Владыка понимал, что осложнения могут привести к полной слепоте. Он целиком погрузился в медицину – работал круглосуточно. Днём проводил операции, ночью фиксировал наблюдения, дополняя главные исследования своей жизни – «Очерки гнойной хирургии».

«В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за продолжение работы по хирургии, — вспоминал владыка. — Но однажды моя молитва была остановлена голосом: «В этом не кайся»».

...В 1937 году начальником московского ГПУ стал Ежов. Начались повальные аресты. Сотрудники ГПУ быстро поняли – их карьера зависит от числа арестованных и осуждённых.

«Конечно, был арестован и я, — вспоминал В.Ф., — ежовский режим был поистине страшен. Был изобретён так называемый допрос конвейером, который дважды пришлось испытать и мне. 13 дней непрерывного допроса, когда человеку не дают ни есть, ни пить, ни спать – бьют, издеваются. Меня заставляли стоять в углу, но я рухнул на пол от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, непрерывно сменявшиеся одна на другую.

На втором конвейере меня били сапогами по ногам так, что я, когда меня вывели в туалет, рухнул на грязный пол и потерял сознание. В камеру меня принесли на руках».

(Это был единственный случай в истории советских спецслужб, от ЧК до КГБ, когда шестидесятилетний больной арестант дважды выдержал пытку конвейером.)

Следствие фактически провалилось, но епископа Луку всё же отправили в третью ссылку – под Красноярск.

В начале войны владыка Лука послал телеграмму Председателю Президиума Верховного Совета М. И. Калинину: «Я, епископ Лука, профессор Войно-Ясенецкий, отбываю ссылку по такой-то статье в поселке Большая Мурта Красноярского края. Являясь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла, там, где будет мне доверено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. По окончании войны готов вернуться в ссылку. Епископ Лука».

Ответ из Москвы пришёл незамедлительно. Профессора приказано было перевести в Красноярск.

— Вот такая история, братцы, — лицо у Михайло светилось. Он еле слышно прошептал: — Моя первая проповедь! Лиха беда начало. Теперь уж я до конца с Лукой...

## Глава 8. Непохожий

Ночью они пришли. Дверь в палату с треском распахнулась; внутрь не вошли – ввалились пятеро откормленных бугаёв, в новенькой форме с красными околышами на фуражках. Не обращая внимания на тяжелораненых, грохоча подковами сапог, они сразу направились к кровати, где дремал Михайло. Угрюмый детина, похожий на гориллу, сорвал и швырнул одеяло на пол, прорывав сквозь плотно сжатые зубы:

— Одевайся и шагом марш следом, на выход. Коллега, твою мать...

Степан попытался было встать на защиту товарища:

— Эээ... шо за шум из-за глухонемого калеки, гражданин начальник? — обратился он к гладкому, похожему на матрёшку, обтянутому скрипучими ремнями, в начищенных до блеска сапогах, офицеру. — И где ж так добротню одевают и сытно кормят бойцов невидимого фронта? Подскажите адресок героям-фронтовикам, а то нам на побывку не сегодня-завтра, а у хлопцев только грудь орденами и прикрыта. С этим делом у нас порядок. С задницей сплошной конфуз, стыд и срам, я извиняюсь; зубы из-под заплаток скалит бесстыжая. А у вас, братцы, не портки, а загляденье! А шо, хлопцы, махнём, не глядя? У меня гармошка трофейная: губная, в кожаном футляре, в честном бою... заслушаешься. Ну так шо? Сторгуемся?

Ответа не последовало. Возня, хриплое сопение и злоба, будто смола в котле клоочет через край. Тогда Стёпа пошёл на вторую попытку:

— А этот, — он кивнул на Михайло, — даже стонать, как полагается штатному раненому, не научился. Не мычит, не телится. Его бы женить – в самый раз. В семейной жизни помалкивать совсем даже не возбраняется; в семейной жизни своя «передовая», а на ней за «стонать» отвечает вторая половина Одессы.

Ночные гости Стёпину шутку не оценили, сделали вид, что не расслышали. Тарахти, мол, на здоровье. Сегодня не твой черёд. Но завтра? Лучше не зарекаться...

— Как это глухонемого? — опешил офицер. — По моим сведениям, он вполне даже разговорчивый. — И машинально (нечаянно) покосился на вертлявого мужичка, приткнувшегося на краю кровати рядом с пчеловодом дядей Васей. Поняв, что его «засветили», мужичок сорвался с места, живчиком проскользнул мимо топтавшихся в замешательстве военных и растворился, пылью осев в потёмках коридора.

Бойцы проводили мужика недобрый взглядом, переглянулись и, сообразив что к чему, мысленно нацарапали ещё по одной зарубке на прикладах своих автоматов.

Михайло приподнялся на кровати, спустил ноги на пол, медленно распрямился, но не удержал равновесие и рухнул назад на свой широченный трон...

— Копил, копил да чёрта купил, — кинул вслед мужику Михайло. Больше он не издал ни звука, только незаметно подмигнул Саньку. Видать, хотел успокоить: мол, не волнуйтесь, полчане, дело известное, переживём — нам не впервой. Через минуту его вынесли прямо на щите.

— Как Александра Македонского, — процедил сквозь зубы Стёпа. Он повернулся к Сане и вполголоса добавил: — Он ведь земляк мой, Михайло-то, — с Николаева родом. Бог даст, ещё свидимся. И ты, Санёк, адресок мой запиши: нам теряться не резон — мы теперь в одной шеренге: и Михайло, и наш Лука, и мы с тобой... и те, кто за нами плечом к плечу до победного.

Санёк запомнит эти слова: запомнит и повторит Степану при встрече, и не только Степану...

Степан подковылял к окну и настежь распахнул створки. Живой ручеёк ночной прохлады устремился между коек. И тут же из чёрной гущи ночи тонкой струйкой пролилась соловьиная трель. Осторожно, будто проверяя мелодию после дальнего перелёта, взмывая ввысь и падая к ногам, маленькая птичка воспевала любовь!

— Из Одессы прилетел за мной, пора и мне в дорогу! — поприветствовал Степан земляка соловья.

На другой день вечером, когда коридоры госпиталя опустели, в тот долгожданный момент, когда наступает время самых дове-

рительных разговоров, в палату вошёл священник-хирург Лука. Он чуть замешкался у входа, перекрестился и, не спеша, направился к Саниной кровати.

По пути подхватил табурет и установил на середину прохода. Немного помедлив, заговорил:

— Так случилось, что Господь выбрал меня, а мне указал на Михайло; ему, в свою очередь, на вас. Выходит, пополнение в нашей дружине. А это означает только одно: неиссякаема любовь Господня, непоколебима вера у людей русских, у людей православных.

Раненые подходили и подходили, они окружили своего доктора-батюшку с четырёх сторон. Те, кто готовился к выписке и достаточно долго лечился в госпитале, знали, уважали и восхищались своим доктором. Бойцы просили благословения у владыки, а получив, замечали, что лица у них самым чудесным образом преображались: начинали светиться. Этот свет лучился из глаз, из слов, из рук, а рождался глубоко в груди. И там же, в груди, становилось тепло и покойно.

— Держите сердца открытыми, — напутствовал Лука. — Мы любим, слышим, чувствуем, верим, благодаря нашим сердцам. Сердце — это проводник Божьей мысли, слова и воли на земле. Сопротивляясь, не принимая этой истины, мы наносим себе разрушительный урон. И в первую очередь своему сердцу. Глупо и недальновидно быть частью Его и в то же время не замечать, отрицать Его присутствие среди нас. Абсурдность безверия не поддаётся здравому смыслу. Прислушайтесь к своему сердцу — и вы услышите Его голос. Молитесь — ваши молитвы не останутся без ответа!

На прощание епископ Лука посоветовал Александру Ярыгину настойчиво разрабатывать руку. Показал несколько упражнений и посоветовал:

— Рука восстановится, ты только не ленись, лейтенант: разрабатывай её и молись. Ты убедился лично, что по молитве приходит исцеление. Многоголосна молитва — многолики и чудеса Господни. Вижу, что не отступишь. Благословляю тебя на жизнь честную, на жизнь светлую... С Богом!

А через пару дней Ярыгина Александра Никитича выписали «подчистую». В Сибирь возвращался не совсем тот, скорей совсем другой человек. Прежний погиб подо Ржевом.

Санёк испил «из волшебного сосуда» ради того, чтобы родился другой — «непохожий» и похожий на него человек.

## Глава 9. Лена

Александр Никитич заглушил мотор, взял в руки весло и направил нос лодки по течению. Полноводная Лена, грациозно изгибаясь могучим телом, бережно подхватила казанку и осторожно понесла подальше от людских глаз.

Задумчивый и тихий наедине с собой он преображался рядом с могучей рекой: снова ощущал себя маленьким – маленьким и счастливым. Река переносила его в то время, когда вся семья была вместе, когда были живы отец и мама.

На утренней зорьке Лена заботливо укутывала Саню мягким облаком плотного тумана. Как когда-то мама среди ночи укрывала пуховым одеялом, успокаивала тёплым поцелуем, усыпляла. В полудрёме Санёк чувствовал прикосновения тёплых маминых рук. Они обнимали, прижимали маленького Саню к маминой груди, мамыны губы шептали нежные слова и целовали, смешно щекоча нос и щёки.

Александр Никитич помнил запах мамы. Мама пахла парным молоком, свежим хлебом и... мамой. Он помнил голос отца и голос мамы, их любовь, заботу и повседневные напутствия. Волшебная река знала о нём всё, ей было под силу вернуть Александра Никитича в его, Санькино, счастливое детство.

Глядя в тёмные воды могучей реки, долгими днями оставаясь наедине с ней, он удивительным образом стал ощущать себя её частью. Это ощущение причастности к первозданному величию реки помогло Александру Никитичу побороть в себе чувство ущербности, своей неполноценности. Поначалу ему было не по себе от того, что он, калека, нарушает вековую гармонию реки. Зато сейчас он с гордостью осознал, что стал частью этой самой гармонии и почти не калекой.

Горячие слёзы обжигали веки: они будто вымывали из памяти очертания жутких картин затихшей войны. Санёк понимал, река помогает ему вернуться с войны, вернуться к мирной жизни. Он полю-



бил мудрую реку, она платила тем же. У них появились свои большие и маленькие секреты. День ото дня их отношения из приятельских в начале постепенно переросли в нечто такое... и «оно» с непреодолимой силой влекло их навстречу. Они спешили друг к другу – скучали, мучились врозь. Такая любовь только в радость, без неё белый свет не мил. С новой силой Александр Никитич полюбил и тайгу: другими глазами глубоко всматривался в синие дали, любовался.

В половодье тайга весёлой ватагой сбегала к самой воде, окуная в прохладные воды лохматые лапы. Умывшись, возвращалась, чтобы с вершин синих сопок острыми макушками царапать набрякшие старым снегом серые облака. Освобождая тем самым небо от весенней слякоти и заодно наполняя живительной влагой пре-красное тело реки.

С детских лет Санёк знал тайгу, вырос на реке, а вернувшись с войны, будто заново прозрел. Стал замечать каждую мелочь, любовался, казалось бы, давным-давно знакомыми вещами: близко разглядывая цветочек, травинку, листочек... муравья, бабочку, стрекозу... шибутную птаху. Разговаривал с ними, выручал, если какая угодит в паутину или шлёпнется в воду. Искал что-то, пытался понять. Ночи напролёт всматривался в глубину звёздного неба. Однажды ему показалось, что разглядел... неожиданно расступилась темень... но что там возникло, не объяснить... Показалось, что там, в глубине, этого непонятного так много... и оно никогда не оставит его в покое: будет вползать в голову, в грудь, смущая своей непонятностью, отвлекая от простого, привычного.

А ещё на реке в нём поднималось свежее, тёплое чувство, охватывало душу и очищало её от повседневной житейской скверны.

— Там тоже жизнь! — был уверен Санёк. — Муравьи, жучки, стрекозы и, конечно, люди – похожие и непохожие на людей. Вот только любви у них намного больше. Любви и правды. Небеса из неё и состоят: из любви и из правды. Какая это благодать, когда рядом нет людей! Ни звука вокруг, ни души! Всплеск воды, стук камешков на перекатах, свист пикирующего вальдшнепа, переключ-ка гусиного клина не в счёт!..

С замиранием сердца всматриваясь в синеву бездонного улова, любясь красотами тайги и молясь, – не опасаясь, что за тобой наблюдает кто-то чужой, – он поневоле обретал внутреннюю свободу. Санёк постепенно успокаивался: он сживался с действительностью, креп сердцем, здоровел душой. Мешали память о «непонятности», о её необъяснимости. Но жизнь брала своё...

Река Лена – полноводная, степенная, не признающая человеческой суеты, – раскрывала перед ним такие красоты, что

внутри у Сани, будто после многолетнего испепеляющего зноя, наконец-то, хлынул долгожданный и спасительный ливень. Перемешавшись в живительном потоке, кровь быстрее и быстрее заструилась по жилам, разгоняясь сильными толчками окрепшего для новой жизни сердца.

Александр Никитич научился по-новому – не так, как раньше, до войны, – примечать и ценить красоту и величие реки. А сквозь синюю с позолотой тайгу он разглядел и то, что казалось давно утерянным и утратившим всякий смысл. Он разглядел себя... выздоровевшим. После таких видений жизнь наполнялась иным смыслом, простым и поистине важным. Она вспыхивала золотой зарницей, манила длинновласой русалкой, озорно смеялась, предсказывая розовощёкое счастье, черноокой цыганкой.

Мысли рождались чистыми; они текли плавно, не натываясь, не насккивая друг на друга, не рассыпаясь и не теряясь в закоулках сознания. Мысли успевали сложиться в мечту, а мечта – в желание любить. Так и случилось – Александр Никитич влюбился!

Впервые после возвращения с фронта он мечтал о семейном счастье. Вспомнил, как после выписки из госпиталя долго стоял у проходной в раздумье – куда податься? Решил отправиться к любимой единственной сестрёнке в Киренск. Больше недели добирался до затерявшегося в сибирской тайге городка. Сестра встретила очень радушно и так участливо и тепло отнеслась к его никудышному состоянию, что Санёк поклялся себе: «Выживу во что бы то ни стало... выживу и буду счастливым!».

На его счастье племянница, сестрёнкина дочурка Кларочка, оказалась настоящим ангелом. От своего «покалеченного дядечки» она ни на шаг не отходила. Вполне успешно вошла в роль персонального доктора и без всяких поблажек для себя, а тем более для героя-дяди, исполняла эту роль. Регулярно, тщательнейшим образом, Кларочка массажировала раненую руку и внимательно следила, чтобы и дядя не ленился, и тоже регулярно выполнял специальные упражнения, прописанные доктором Лукой. Кларочка так рьяно взялась исполнять свои обязанности, что по ночам Александр Никитич частенько, в прямом смысле, лез на стенку от боли в заштопанных сухожилиях и мышцах. А Кларочка тут как тут – спешит со своими волшебными компрессами, настоянными на целительных травах. Травы собирала сама, вместе с местной знахаркой, тётей Полей. И что удивительно: рука медленно, но верно шла на поправку. Рука оживала!

Будучи заядлым охотником, Александр Никитич никак не мог приноровиться стрелять с левого плеча. Как только он ни приспособился

сабливался – ни в какую. А тут, на последней зорьке, когда табунок уток просвистел над самым ухом, ружьё само собой «прыгнуло» к правому плечу, и он навскидку срезал двух шилохвостей. Растерявшись и не веря в случившееся, он несколько мгновений сидел как замороженный, глядя на запястье. Потом закатал рукав гимнастёрки и стал целовать руку, приговаривая: родная, дорогая, живая... живая. Спасибо тебе, Господи! Спасибо тебе, Лука!

В этот самый миг он впервые представил Наталью Петровну рядом с собой. Представил на всю жизнь, навсегда. Александр Никитич смеялся, плакал и, кажется, пел...

## Глава 10. Наталья Петровна

Александр Никитич, на следующий день после приезда в Киренск, явился в военкомат для постановки на военный учет. Военком оказался душевным человеком, в солидных годах – было ему за пятьдесят. По возрасту, да и по состоянию здоровья, в дни всеобщей мобилизации его, с его же слов, «отбраковали как хромого на левое копыто местного водовоза».

Николай Викентич, так величали военкома, был родом из Забайкалья, из казаков. В лихие годы гражданской успел поучаствовать в разных военных кампаниях. Не все кампании «нонешней» власти пришлись по душе. Пришлось отвечать перед революционным трибуналом. И ответил, и осознал, и меньше Родину любить не стал. В послужном списке у лихого рубаки отсутствовали лишь те сражения, со слов того же Николая Викентича, на которые он не в состоянии был поспеть по уважительным причинам. Ухмыляясь в густые усы он перечислял, загибая сильные пальцы:

— Не успел к Степану Тимофеевичу Разину, ну и к Емельяну Ивановичу Пугачёву – не судьба. Правда, с Александром Васильевичем Колчаком знаком лично. На чьей бы стороне мы ни воевали, во все времена, и всё одно – выходило так, что за Россию-матушку головы наши с плеч летели по обе стороны. Каждый её, родимую, на свой лад любил, любит и любить будет; для каждого её счастье на свой манер представляется! Она и благодарит нас по отдельности, чтобы не обидеть никого. Одному крест на грудь, другому орден со звездой. А любит одинаково, как детей своих, не всегда разумных, но своих единственных. Куда от нас денешься? Свои – они и есть свои... И на погосте моду завели: одни крестами, другие звёздами друг от друга отгораживаются. Казалось бы, там-то какая разница, под какой фигурой покоиться? Лежи себе, полёживай, разговоры с соседом душевные разговаривай, о делах земных со всех сторон бесполезных...

Помолчал с минуту и как ошарашил:

— Войны для того и придумали, чтобы память из народа вышибить. Памятлив народ, многое помнит, молчит до поры до времени. Большая смута от народа – от памяти его зло растёт. Памятливых надо под корень извести, зло ихнее с ними и сгинет. В беспамятстве покой. Я вот тоже от памяти мучаюсь, не успокоюсь никак. На фронте мне место...

Усмехнулся и заключил:

— Наблюдает Мать-Родина со стороны и только руками разводит на близорукость нашу, глупость повсеместную. Жизнь как пуля летит. Вскинул ствол, нажал на курок – и всё, обратной дороги нет. Твой шанс, он с первой попытки: либо в цель, либо в молоко. Вторая попытка не в счёт! В зачёт идет первая...

Форма на военкоме сидела как влитая – без складок и морщинок. И выправка, не всякий молодой такой выправкой похвастает. Обидно было старому казаку в тылу скучать, тошно в кабинете отсиживаться, стыдно на завалинке портки протирать, когда вокруг такая война.

Кипела кровь в жилах у старого рубака. Негоже таких воинов про запас держать, негоже списывать со счетов. Николай Викентич не сдавался: засыпал рапортами своё непосредственное начальство. И оно, в конце концов, сдалось – обещало в ближайшее время удовлетворить его просьбу.

— Эх, лейтенант, — обратился военком к Александру Никитичу, — мне бы твои годы да твои заботы... Повоюем ещё! Вас бы только сбережь: столько дел после войны переделать надобно, нам старикам не осилить. Воевать? Другое дело: тут мы за милу душу постараемся. Нам хоть немца, хоть японца, а хоть всю ихнюю Антанту – через колено и в печку. А руки на то Господь по две и выдаёт, чтобы у нас причин для скуки не осталось. Для шашки одна рука в самый раз. Где ты видел, чтобы шашкой, как колуном, размахивали? Хочешь, лейтенант, я тебя в два счёта обучу пользоваться тем, что у тебя в наличии имеется – твоей левой рукой? Так обучу, что не раз вспомнишь меня добрым словом. И шашка у меня для такого дела – какой год в ножах скучает. Соглашайся, служивый, не пожалеешь!

У самого глаза загорелись, усы затопорщились. Вмиг помолодел старый казак: подобрался весь, напрягся, как тетива на луке. Подведи коня – он в седло птицей взлетит. Одно слово – казак!

Санёк, не желая обидеть старого казака, дал своё согласие на обучение. Но попросил отсрочку по причине необходимости выполнения прописанного курса реабилитации. Мол, одна рука хорошо, но с двумя куда как сподручней; двуруким в наших краях, с какой стороны ни погляди, веселей живётся.

В ходе разговора Александр Никитич поинтересовался наличием работы по специальности. Оказалось, что позарез нужен воспитатель в детский дом. На том и порешили: сначала реабилитация, а уж потом тренировки по джигитовке и упражнения с шашкой.

На следующий день Александра Никитича приняли на должность воспитателя в детский дом города Киренска. Предварительно с ним побеседовала директор Антонина Матвеевна – женщина открытая и добрая. Похожая на курицу-наседку, у которой вместо дюжины, ни с того ни с сего, вывелась целая сотня разномастных сорванцов. Малышня не давала ей шагу ступить. Со стороны такая картина вызывала самые тёплые чувства. Повезло ребятишкам с директором. Антонина Матвеевна несказанно обрадовалась, что в их коллективе появился мужчина – фронтовик! Александру Никитичу доверили две группы старшеклассников – «старичков».

Ребятишек в детдом собрали из самых удалённых уголков нашей необъятной Родины, самых разных судеб. У всех у них была одна общая беда – это война. Война их объединила, она же и развела на два непримиримых лагеря. Они не враждовали, нет. Каждый переживал своё горе и свою радость тихонько, незаметно, стараясь не выставлять напоказ, боясь сглазить, спугнуть удачу. Это был не тот случай, когда сокровенным делятся с друзьями, соседями. «Не сглазить, не спугнуть!» – вот что важнее. Родной живой треугольник зачитывался до дыр без свидетелей, в укромном уголке. Читать, вспоминать, представлять, плакать, целовать, надеяться, клясться, укладкой креститься, «только бы не сглазить».

Осиротевшие давно, недавно, вчера, сегодня завидовали тем, кто получал «живые треугольники». Осиротевшие верили в чудо и тоже боялись сглазить... Уверяли друг друга, что взрослые, как всегда, что-то там напутали и совсем скоро всё образуется. И они вернутся домой, где встретятся со своими, совсем даже не погибшими родителями. Такие недоразумения и в мирное время на каждом шагу, а уж в военное и подавно. Ошибаются все поголовно: и почтальоны, и политруки, и санитары; ошибаются даже фашисты, «когда вместо одних убивают других родителей». Такое невозможно представить, чтобы в юные годы потерять самых близких людей. Как жить без мамы и без папы?

Дети встретили нового воспитателя с тайной надеждой. «А вдруг он с моим папой воевал? Он расскажет о папе, обязательно подтвердит, что папа жив! Этот раненый офицер должен знать такое... Мы всё поймем», – так думали дети, надеялись на офицера взрослые. Дети приняли своего воспитателя с открытыми сердцами. Фронтовик! Тут, как говорится, без вариантов. Отношения между

ребятами и Александром Никитичем сложились душевные, доверительные, родственные.

Наталья Петровна появилась в детдоме двумя неделями позже. Как потом выяснилось, она ездила в деревню Карам к маме, где похоронила своего единственного сыночка. Мальчонке только-только исполнилось полтора годика. По коридору навстречу Александру Никитичу шла красивая женщина. Вот только красота её была неживой, будто пеплом присыпана. Но более всего поражали её глаза: неподвижно-пустые, со взором, устремлённым туда, где ничего не было.

«В тылу – и такое! Всё смешалось, перепуталось. Кто же так постарался заморочить людей, что они поверили в войну? Чёрт тут играет, что ли?» – Александр Никитич встал как вкопанный, прижался к стене и замер. Он с опаской прислушался к себе, незнакомому. «Кто это со мной? Выходит, не уберётся – заразился от себя... собой. Уживёмся ли в одной шкуре вдвоём?»

Наталья Петровна на ощупь, никого не узнавая, шла и шла... – шла к нему, к своему единственному. Он был ещё здесь, с ней, её сыночек-ангелочек; улыбался, покряхтывал, как медвежонок. «Господи, за что мне такое? – кричало материнское сердце, – за что? Мой Серёженька! Не хочу без него! Не могу! К нему, пустите к нему!»

Горе чёрной стаей кружило над головой; ни лучика сквозь; непроглядная темень на землю. Горе матери, потерявшей единственное дитя, невозможно сравнить ни с какой другой бедой. Этим горем можно затмить луну, погасить самое солнце.

...Наталья Петровна вышла замуж перед самой войной, совсем молоденькой. Началась война, объявили мобилизацию, мужа призвали на Тихоокеанский флот. Жить в деревне, где из трёх десятков домов половина опустели, стояли с заколоченными окнами; из деревенских старики остались да дети малые; нет работы, а тоска и печаль с ума сводила – выше всяких сил. Наталья Петровна решила перебраться в Киренск. На её удачу в детдоме предложили работу воспитателя. Детишек навезли со всего Советского Союза, а воспитателей с подготовкой днём с огнём не сыскать. Наталья Петровна как учитель истории и литературы, хоть и с небольшим стажем, пришлась как нельзя кстати.

Зиму с Божьей помощью пережили. Мама с Серёжкой в Караме, Наталья Петровна при детдоме в Киренске. Навещала сына и маму при любой возможности. Мама в Серёжке души не чаяла, пылинки с внука сдувала. И надо ж такая напасть: в конце апреля занемог Серёжка, температура поднялась высокая, глазёнки заслезились, не кряхтит – стонет всю ночь напролёт. Сусанна Андрианов-

на (Наталина мама) к местному фельдшеру за помощью. Так, мол, и так: захворал внучок, выручай, мил человек...

Фельдшер Слава сидел за столом в исподнем, раскраснелся после жаркой бани. На столе самовар пыхтит, рядом бутылка водки початая, чугунок с картошкой дымится, шкварками залитый. Полотенце вокруг шеи, он им пот с рожи утирает, разговелся от крепкого берёзового духа. «Какой такой внучок, тётка?» – цедит сквозь зубы.

...Этот МОлодец появился на сибирской земле в первые дни войны. Для сибиряков все те из мужиков, кто из-за Урала пожаловал, «ненашенскими» считались, с «коростой на совести».

Поселился Славик в доме у тётки Фроси. Ядрёная была тётка, в самом соку, солдатка. Муж в первые дни погиб, а этот «щегол» её племянником представился, троюродным что ли. Обходительным оказался, ласковым. Знал, что и когда сказать, как утешить, чем помочь, кому. Всё у него ладно выходило, везде он вовремя поспевал. Лет тридцати отроду. Воюй – не хочу! Да не тут-то было. У него справки на руках. Благодаря этим справкам в «невоеннообязанных» числился. Жил себе, не тужил. Мотался по тайге, заводил знакомства с тунгусами, закупал меха ценные, промышлял золотишком – и тёмными делишками не брезговал. Частенько наведывались к нему гости. Не из местных. На первый взгляд люди как люди, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно: они другие, не совсем люди в нашем понимании. Бывалый народец, но не для разведки. Это о них: «Кому война, а кому мать родна».

Пристрастился Славик солдаткам «помогать», да так заботливо и напористо, что не все устояли. Тяжело в военное время: страшно, одиноко, голодно, холодно... А Славик тут как тут: и утешит, и обогреет, и продуктами подсобит.

Фельдшеру по первому слову: и мясо свежатину, и рыбу на любой вкус, и жир барсучий, и мёд, и дрова подвезут. Не жалел фельдшер припасов для солдаток, делился. Взамен – ни много, ни мало – светлые бабьи души забирал. Не навсегда. Потешится, потешится и назад вернёт; под порог покалеченную подбросит и дальше – новую, светлую караулить...

— Куда я пойду? Ты в своём уме, тётка? После бани да в такую сырость? Неее, тащи своего мальчика к нам в дом. Поглядим на него... в мирной обстановке. — Икнул, подцепил золотистый рыжик на вилку, опрокинул стопку в распахнутую пасть и смачно крикнул, с ухмылкой покосившись на выпирающие из глубокого разреза тётки смуглые груди. Рыжик пискнул и захрустел на крепких зубах упитанного «невоеннообязанного». – Ну, и шо ты как бельмо на глазу?



Ступай, тебе говорят. Не пойду я на холод после бани, не хватало насморк схватить!

Бедная женщина, плюнув с досады, сломя голову помчалась за внуком. Укутала в пуховое одеяло чуть живого мальчонку, а пока несла через всю деревню, он и помер. Задохнулся. С жаром сердечко не справилось, не выдержало. Скарлатина – будь она неладна!..

...Фельдшер сгинул, как только стали возвращаться первые фронтовики. Послушали, послушали полчане занятные истории о «подвигах» фельдшера – да и пригласили его с собой на рыбалку. Как он только ни отнекивался, как ни упирался: «и не рыбак, и плавать не умею, и воды боюсь»... Брыкался до последнего. Куда там – не помогло. «Языков» через линию фронта пачками доставляли, а тут какой-то «невоеннообязанный» кочевряжится. Оказалось, так и есть – не врал фельдшер – плавать он натурально не умел, воды как огня боялся. Тут такую войну сдюжили, а он воды... Не шастал бы по солдатским жёнкам, может, и выплыл. А так – колуном ко дну. Сибирь! Такие просторы! Одним фельдшером меньше, одним больше... Кто их считал, которые со справками и насморка бояться?..

## Глава 11. С глазу на глаз

За окном незаметно стемнело. Звёзды густо рассыпались на чёрном небосводе, мерцающим куполом накрыв землю. Тетрадки ровной стопкой лежали на углу стола. «На сегодня всё – хватит». Александр Никитич допил остывший чай и задумался. «Летит времечко – впереди бежит, не успеваю за ним».

Временами неизвестная сила подхватывала и несла его, как пушинку. Но куда? Он чувствовал присутствие этой силы, ему казалось, что он в её власти. Но никакой власти над ним не было.

«Сам в себе блуждаю, выхода не найду, — оправдывался он. — Видать, крепко меня жулькнуло в окопе, коль явь со сном вперемешку – не отличить».

Оглядываясь назад, на длинную череду прожитых лет, вспоминая суровое военное, непростое послевоенное время – время, в котором горе, радость, печаль, сама жизнь переплелись, срослись настолько прочно, что запёкшийся сгусток из человеческих судеб, пропитанный кровью отцов, слезами матерей, не под силу разлепить и по сей день.

Александр Никитич подлил в стакан горячего чая, отпил пару глотков и тихонько буркнул в темноту окна.

— И снова память! От неё не спрятаться, с ней не договориться. Она через годы, десятилетия настигает и восстанавливает справедливость; заставляет каяться, отрекаться. Каяться перед будущими поколениями, ныне здравствующими и тем более давно ушедшими. А кому-то – отречься от всего и всех. Любому выпадает это испытание: не заблудиться в полуправде, не поддаться на соблазн впасть в беспамятство ради мимолетной выгоды, предав тем самым память.

Откуда в нас столько безумного, чтобы снова и снова начинать сначала? Откуда это равнодушие к чужим судьбам? Желание по-

мочь несчастным вопреки «здравому смыслу»? И в то же время откуда столько безразличия к чужой судьбе? И к своей в том числе?

Нас будто искушают, раз за разом исповедуя нам нашу же исключительность, пророча близкое процветание, достойную жизнь, тихую, сытую старость. К чему столько путаницы в умах? Жизнь так коротка. Своему народу надо говорить правду! Народ поймёт, он и так всё понимает. Разочарование – вот что убивает нас наповал!

Война – это правда! Но для кого?.. Мы потому и победили, и побеждали прежде, что в момент смертельной опасности наша власть вынуждена говорить нам правду. Народ в благодарность за это совершает немыслимые, героические поступки. Народ становится непобедим. Хорошо бы эту привычку «говорить правду» перенести на мирное время. А сработает? Без понуканий, лицемерия, не кривя душой – правду! С высоких трибун и в честной компании – правду и только правду! Где бы мы сейчас были?

А может, власть и сама не до конца уверена, как поступить с нашей (и своей) правдой? Сомневается власть: «Не утаить ли ее? Не припрятать ли до лучших времён? Или избавиться от неё раз и навсегда?». Мучается власть, ответы ищет, не всегда верные находит, чаще наугад – на свой страх и риск – поступает...

Ярыгину казалось, что за столом он не один, а с тем – вторым, «поперечным», внутри, – который не давал покоя, зудил и зудил, требую ответа, спорил, задирался.

— Посуди сам, — бубнил «второй», — откуда знать крестьянину, красноармейцу и даже матросу, как распорядиться «правдой»? Пусть трижды патриоту, но не обладающему ни государственным видением, ни необходимыми знаниями, не имеющему опыта управления такой огромной страной, как Россия? Кто подскажет? И кто решится поверить тем, кто подскажет?

Пытались: приглашали «бывших», из тех, кто уцелел и по наивности своей поверил и остался; приглашали иноземцев; обучали своих, «доморощенных». А понаблюдав за теми и другими со стороны, засомневались. И сообразив, что в очередной раз напортачили, цепляли ярлыки предателей и в расход – и «бывших», и «уцелевших», и «доморощенных». За свои шкуры испугались, увидев умных «бывших» за работой и убедившись, что у тех получается, – скорей ярлыки и в расход! С этим делом у нас порядок. Столько лет практиковались, полстраны к стенке «прислонили». А куда деваться? Известно: «своя рубашка ближе к телу»! Потом за своих взялись, за «доморощенных», за тех, кого «бывшие» обучили. С ними тоже не церемонились ... Кто-то и уцелел, не без этого.

Так и дюжим: «бывших» из виду не выпускаем; за «уцелевшими» приглядываем; обучаем «неспособных»; нянчимся с моральными уродцами. В результате получаем «образованных» уродов, проныр, лизоблюдов, подхалимов ради своей шкуры на всё согласных. Они «рулят», как им заблагорассудится, и уж точно не подпустят «порулить» ни талантливых, ни честных, ни способных – ни тех же умных «бывших», постепенно превращая государственные институты в «кормушки» для себя любимых.

Александр Никитич аж чаем поперхнулся:

— Кто ты такой? Что тебе от меня надо? Откуда ты взялся на мою голову?

Потом усмехнулся и как бы со стороны:

— Не юли, Санёк, знамо дело – «откуда». Не прошло даром времечко на приiske. Откровенные беседы – по душам – с «политическими» глубокие рубцы на сердце оставили. По ночам до мятликов в глазах зачитывался книжками запрещёнными. Будто стекло глотал битое, кровью харкал, торопился – не успеть боялся. Как зверь добычу кусками, так и ты, Санёк, «правду» целиком заглатывал, впрок запасался. Вот и получил «отрыжку» на годы, до конца жизни хватит. Умными были собеседники, образованными, знаниями обладали энциклопедическими. А у тебя, Санёк, – на счастье, беду ли – мозги так устроены, что ни один факт, ни одно событие, раз услышанные, не терялись, не забывались. Особым способом хранились знания в закромах памяти, дожидаясь своего часа. И во время войны с интересными людьми познакомился. Встреча с одним епископом Лукой чего стоит! Закрома трещат, а поделиться не с кем. Вот ведь незадача. И «историю» ты выбрал с единственной целью: не топтаться на месте, дожидаясь «хороших времён», а изучать и сопоставлять; пусть в одиночку, но докопаться до сути. На то и разум дан, чтобы сопоставлять, размышлять, свет проливать... да помалкивать до поры до времени... По всем приметам богато должны жить люди русские. Натерпелись, заслужили лучшей доли, а у нас пьянство беспробудное и нищета беспросветная. На днях вот снова случай: в соседней деревне учительница повесилась. Молодая, умная, одинокая, жить да жить! Какая причина? Надо полагать, от глухоты, от непонимания со стороны сельчан, от душевной тоски и одиночества. Так в предсмертной записке и написала: «Нет сил мириться с беспробудной действительностью. Устала восхищаться способностью деревни к выживанию. Не вижу смысла в светлом завтра».

Александр Никитич почувствовал, что оба человека внутри слились – стали одним целым, но не прежним, – перестали спорить, согласились. Он тяжело вздохнул: «А меня, значит, на

её место – в светлое завтра заглядывать? Почему снова меня? Мы с Натальей Петровной четвёртое местожительство разменяли, и каждый раз с чистого листа. Только обустроимся с грехом пополам, к ребятишкам привыкнем – нам новое назначение. И каждый раз одно и то же: у очередного педагога силы закончились сопротивляться светлому будущему. Хорошо, если успеет молодой педагог, вовремя спохватится. Бросит всё и... куда глаза глядят... Кто замешкался, считай, пропал, у него один выход – в петлю или с крутого яру с камнем на шее. Тонкие натуры у молодого поколения, безверием обескровленные, не принимают коллективного счастья. Они себя центром Вселенной считают. А почему нет? Я с ними полностью согласен! Счастье не может быть коллективным, оно вместе с любовью каждому адресату в отдельном конверте доставляется.

Коллектив он, как стадо: тех, кто остановился, миг сметёт, растопчет. А уж тех, которые наперекор, и подавно – в месиво обратит кровавое.

Какое горе родным! А самой?.. Эх! Не война, мирное время, а всё одно похоронки летят».

У Ярыгиных одно утешение: как переезд на новое место, так у них прибавление. «Эх-хо-хо!.. – Александр Никитич пристальной вгляделся в темноту. – Тишина! Ни души! Да и кому тут быть? Место глухое, укромное. И только река развлекается, как ей заблагорассудится». Вспомнил, как вода подкралась к кусту черёмухи у ихних мостков, захватила тяжёлую ветку и, шурша крепкой листвой, потянула за собой на глубину. «Теперь уж не выпустит. День за днём обшелушит до голого стебля, до последнего листочка, зимой закуёт в ледяной панцирь, а весной во время ледохода рванёт по живому и унесёт оживающую плоть к океану. Кто знает, а не случится ли такое: вобравшая силы от реки, ткнётся веточка за тысячу вёрст отсюда в плодородный берег, а через пару-тройку лет зацветёт на том месте густой куст черёмухи. Тайна реки, тайна кустика черёмухи – это и есть часть тайны мироздания.

Как там у них? Неужели так же, как и у нас? Через боль, страдания, кровь – к новой боли, к новым страданиям, к новой крови...

Слова! Сколько в них сил и бессилия. О чём говорим, чего опасаемся, то с нами и случается. Поосторожней со словами, поосторожней с желаниями, поосторожней с мыслями...»

...Тайга тысячами глаз устремилась в бездонное небо, теменью накрывшее землю. Покой и единение.

— С кем единение?

Александр Никитич вздрогнул.

— Снова ты с вопросами? Согласен, что-то не то с нами, со всеми. Снаружи вроде веселей стало, от хмельной радости голова кругом, а протрезвеешь – выть охота. От чего выть? От радости, от чего же ещё, с похмелья. Запутались. Война! Есть на кого свалить, с них и взятки гладки... Восстановлением народного хозяйства заняты все от мала до велика, в это дело с головой ушли. Съезды, задачи, лозунги, цели, планы – в едином порыве!

И снова из глубины:

— А где же место человеку с его душой, с тонкой натурой? Дальше-то что? Жить как все? От получки до получки, от пятилетки к пятилетке, выполняя заветы «бывших», «уцелевших», «неспособных»? За общим столом, на общей кухне, в общей бане, под одним одеялом?

Ярыгин крикнул:

— Прав ты. Остановиться бы, задуматься, перед людьми покаяться, прощение вымолить, а уж потом и дальше – с теми, кто поймёт, простит; с теми, кто поверит. Государственные вопросы? Их сообща! Но и к отдельному человеку – лично – надо иметь уважение. Не мешать! Позволить созидать своё, сокровенное, только ему одному понятное; созидать любовь к Богу, к людям. Не касаться души, не путать мысли, не мешать идти своим путём...

— Всё-всё, спать! Утро вечера...

Поговорили...

## Глава 12. Письмо

Мать Натальи Петровны была женщиной простой, не получившей в своё время полноценного образования, но от природы мудрой, прозорливой, неугомонной. Вопреки бытующему мнению, накрепко привязалась к своему зятю, жила с ним и дочерью под одной крышей.

Александр Никитич, в свою очередь, – не сразу, постепенно, день за днём – тоже проникся уважением к этой умной, заботливой, необыкновенно привлекательной женщине.

Встречаются такие женщины – они с годами становятся красивее самих себя в молодости. В их облике появляется что-то такое, с чем молодости тягаться – ну, просто никаких шансов. Тёща к этим женщинам имела самое прямое отношение. На пятом десятке расцвела так, что самой становилось не по себе.

«Неужто в зятя влюбилась? А ведь влюбилась – да ещё как!» — тайком любясь в зеркале красивыми формами налитого бабьей силой тела, по-девчоночьи простодушно радовалась она. «Грех это, Сонечка! — И тут же возражала себе: — А разве любить правильного мужика – это грех? Кто бы мог подумать, что такое возможно? Как школьница, честное слово».

Тёща и зять частенько секретничали на самые разные житейские темы. Сусанна Андриановна понимала Александра Никитича как никто другой – с полуслова. Бывало, он только рот раскроет, а она уж с ответом поджидает, не терпит её. И тоску в нём первая распознала, немедля сторону зятя приняла – до последнего дня поблизости находилась, присматривала. Переживала, что не устоит зятёк, сломается до срока, сам себе не под силу станет.

А как-то они объяснились. Это произошло как раз после ссоры Александра Никитича с Натальей Петровной – первой и последней ссоры.

— Я не о такой жизни мечтала, — заявила Наталья Петровна, — и не о таком муже ворожила. Вот Сергей, мой первый мужик, с «золотой рыбкой» знакомство водил. Что бы я ни загадала и когда, исполнялось моментально, без лишних вопросов. А ты только и можешь, что штаны протирать в своей школе... за копейки.

Это был конец. Александр Никитич себе так и сказал: «Это всё, Санёк, амба! Окончательно и бесповоротно!» Ссориться, усугублять... не было смысла. Зачем? И так всё ясно. Он замкнулся. Стал жить по инерции, как шатун в зиму, пока ноги носят. Река, тайга, работа, дети... Вроде ослеп на оба глаза, охоту к жизни потерял и к себе самому.

О встрече с Олей стал мечтать: «Мне бы только увидеться с ней, рядом постоять...»

— Зачем? — интересовался тот, «второй», который с вопросами.

— Назло Наталье! И помню я Олю — её разве забудешь...

— Потерпи, — уговаривал Ярыгин себя и «второго», — детей не брошу. Подрасту, а там... видно будет.

Зачем уговаривал? С каждым днём становилось только хуже.

Со стороны всё как у всех. Семья культурная, многодетная. Муж — директор школы, жена — учительница, хозяйка каких поискать, и не факт, что найдёшь такую вторую. И шьёт, и хозяйство в порядке содержит, и дети прибраны, и вообще — красавица!

Но мать не проведёшь: она сквозь дочь видит, «любовь-нелюбовь» вмиг распознала. Давно поняла, что не любовь, а страсть верховодит в семье дочери. Оба красивые, здоровые, оба в силе, а природа требует, прочно на своём стоит. Против неё кто устоит? То-то и оно — не родилась такая сила. Война каких мужиков забрала! Мизер оставила. Спротивляться бесполезно: у природы свои планы на наш счёт, она не потерпит пустоты в отношениях.

— Решили жить вместе? Хорошо! Но будьте любезны, порауйте меня детским смехом, — напоминает природа.

Сусанна Андриановна разглядела то, что могла разглядеть только она, настрадавшись, но так и не найдя путь к своему счастью. Стон внутри как напоминание: «Без любви жить невозможно! Душа человеку на то и дана, чтобы он любить мог...»

В Караме, где прошла её молодость, как и в соседних деревнях, люди тайгой жили. Но только в Караме сложились свои порядки, которые со временем укоренились в крепкие традиции. Здесь подбирались люди той ещё породы. Половина деревни из казаков состояла, вторая — из лихого, отчаянного люда. Вроде по соседству жили да кормились врозь, на расстоянии друг от друга существовали. Тайга! Есть куда податься. Свободно человек живёт, а защиты



ему нет. Грешить человеку запрещено, но не грешить невозможно. Привыкли так жить: ни себя толком, ни соседа не жалеючи.

Деревня особняком стояла: в стороне от тракта, на берегу Лены. Подобраться к ней незаметно не получится: с пригорка берег как на ладони. Старики на завалинке днями подсолнухи шелушат, трубками дымят, о былом сказки складывают. Со стороны посмотреть, вроде дурака валяют, на самом деле – служба. Стерегут старички покой земляков, круглые сутки в дозоре. Глаз у них намётанный, свои лодки наперечёт знают. Ваську Серёдкина, участкового, на его «вихре» за версту слышать; рыбнадзор на импортном «водомёте» каждый пацан распознает. Оповещали, кого надо, вовремя. Детвора тут же, всегда под рукой. Чуть что – у пацанов только пятки сверкают. Несётся такой по улице, сломя голову, за ним ватага на всякий случай, страхуют. Слово в слово перескажут дедовы наказы и назад, поближе к речке, – на исходный рубеж.

В Караме свой закон: «закон-тайга». Чужие в деревню не совались – себе дорожке, – стороной обходили. Оружие, порох, патроны, капканы, керосин, бензин; меха, золото, камешки, икра, поделки из кости, камня, дерева; собаки (и даже люди) были основной статьёй дохода. Всё оценивалось, находило своих покупателей и тайными тропами, секретными каналами просачивалось вглубь страны, и не только. Часть добра уплывала за рубеж. А из-за границы вплоть до «водомётов». На одном из таких «подарков» и рассекал зеленоватые воды Лены Толя Груздев, начальник рыбнадзора.

За порядком в деревне приглядывали две семьи: Михалевы и Шубины. Михалевы – из казаков, Шубины – из коренных, «беглых». Что Михалевы, что Шубины под стать друг другу – из лихого роду-племени. Чужого не возьмут, но и своё из рук не выпустят, «из глотки вырвут», как говорится. Деревня пополам поделена: в обе стороны от часовенки, что на бугорке возвышалась, улочки разбегались. По правую руку Михалевские, по левую Шубинские жили. Жили себе, не тужили. Ни от кого не прятались, ни перед кем не кланялись.

Девичья фамилия у Сусанны Андриановны – Михалева. Замуж вышла за младшего из братьев Шубиных, за Петра. Наперекор отцовской воле пошла. «Дура!» – это она о себе.

Перемолола шубинская «мельница» золотыми жерновами девичье счастье красавицы казачки. Жёсткие порядки у Шубиных, жестокое даже. Там, где верховодят деньги, – на первом месте выгода да прибыль, – там не до сюсюканий. Всё сокровенное впопыхах, дела сердечные на «потом» оставлялись. А где это «потом», когда? Никого не волновало...

Двух сыновей родила Сусанна Андриановна и дочку, и все с «порченной» кровью оказались. Сыновья закончили Лесной техникум, стали специалистами по пушнине, продолжили «дело» отца. Дочь, Наталья, выучилась на учительницу, но мечтала о тереме боярском, о богатстве несметном. Ничто её так не волновало, как материальное благополучие. Рублик к рублику, копеечка к копеечке откладывала, копила на «чёрный день» – на «чёрный» и накопила.

Сергей, первый Наташин муж, обещал тот терем и построил бы, не случись беды с сыном. Хватка у него, что у волкодава была, а чутьё на деньги – это волчье. Не судьба. Не простил Наталье смерти сына: остался на сверхсрочную на Тихоокеанском флоте.

На свадьбе старший брат Натальи Петровны, захмелев от «рябиновки», по-свойски обняв Александра Никитича за плечи, обратился, кривясь от самодовольства:

— Санёк, не бзди, поможем. Мы тебе такие возможности откроем: Наташку в соболя оденешь, сам первым человеком в районе станешь. У Шубиных слово – кремь! Угадал ты с невестой. Запомни, зятёк, что я тебе сказал, заруби на носу.

На что Александр Никитич ответил, цедя сквозь плотно сжатые зубы:

— Заруби и ты на своём носу, родственник: отныне и на все времена, ко мне обращайся только по имени-отчеству и непременно на «вы».

Со стороны эта сцена выглядела даже трогательно. Ярыгин только-только наливался силой, восстанавливался, был худ и прозрачен. Родственник, в отличие от него, «пыхтел» здоровьем. Но Санёк отроду был силён, как бык, а с гириями не расставался до самой старости – страсть как любил «железо». Потому-то в госпитале, подо Ржевом, и не посмел отнять руку хирург, когда разглядел атлетичное тело лейтенанта. Санёк никогда не испытывал страха перед кем бы то ни было. Руками подковы разгибал.

Один только раз испугался, а расплачиваться пришлось всей жизнью. Когда не решился сообщить Оле о ранении. Испугался. А как бы всё сложилось? Неизвестно как...

Родственники жены на второй день свадьбы не явились. Обиделись. «Не нашего поля ягодка! Поживём – увидим, сколь проживём». Сусанна Андриановна ещё тогда предупредила зятя:

— Будь осторожен, Александр Никитич, у моей дочери внутри пепел да головешки, нет там пока места для чувств глубоких. Живёт с тобой по давней бабьей привычке, только и всего. Не умри и ты рядом с ней с горя раньше времени.

— Знаю, Сусанна Андриановна, у меня там тоже не всё ладно...

— Поспешил ты, зятёк, с женьитьбой. Вам бы выздороветь сначала обоим, а уж после и поглядеть, кому на ком жениться. Не пара вы с Наташкой, ох и настрадаетесь оба. Не на радость ваш брак, на испытание; не во благо, но вопреки.

Не ошиблась теща – угадала с опасениями. Однако помогала всем, чем только могла: и по хозяйству подсобляла, и с внучатами нянчилась, и по душам поговорит, когда хоть волком вой. К внукам, как к своим деткам, относилась. Вроде сама их под сердцем выносила, сама рожала; представляла, что от зятя у неё детки...

«Совсем я с толку сбилась, – диву давалась она, заметив, что грудь набухла, а из розовых сосцов – ей-Богу – вот-вот молоко засочится. — Что же ты со мной делаешь, Санечка?» — шептала теща, с любовью глядя на зятя.

Книжки читала запоем ночи напролёт, а еще втайне от всех (и себя самой) любила своего зятя. Эту привычку к чтению ей в детстве привила «культурная», городская женщина, появившаяся в деревне неожиданно и поселившаяся по соседству – у бабы Мани, двоюродной Сониной тётки. Как позже выяснилось, тётя Катерина была из народовольцев, из тех образованных, равнодушных богачей, которые «ушли в народ», отказавшись от своих миллионов, семей, привычного комфорта. Весь свой капитал отдавали на строительство школ, приютов, детских домов и больниц в самых отдалённых, глухих деревнях. Были и такие герои в нашем Отечестве. Но власть очень быстро расправилась с ними: сослали, пересадили, казнили, запретили... калёным железом выжгли.

Долгими вечерами размышляя, наедине с Соней, об истории государства Российского, о судьбах народов, тётя Катерина ненавязчиво привила ей крепкую привычку к самообразованию. Эта привычка сохранилась у Сусанны Андриановны на многие годы, сохранилась до конца жизни.

Сусанна Андриановна получила интересные сведения – «закрытые для общего пользования», – благодаря им делала совершенно неожиданные заключения по «спорным» вопросам. Мысли излагала кратко, ёмко, честно. Александр Никитич даже заподозрил, что это Лука через его тещу продолжает вести с ним диалог. Тем более что Сусанна Андриановна была женщиной глубоко верующей и не желавшей скрывать это. Наоборот, верила открыто, молилась самозабвенно и гордилась тем, что «Господь её слышит».

«Без Христа мы сироты. Мы смешны и мелки в своих помыслах. Душа мечется во тьме, как птица в клетке, если мы сворачиваем с пути истинного».

— Кто бы мог подумать, что мне так повезёт с тёщей, — хвалился Александр Никитич своей любимой сестре Дуняше. С Дуней прожили всю жизнь по соседству и тоже душа в душу. Самое сокровенное ей доверял.

...Оленьке был известен адрес Дуни. Перед самым отъездом на фронт Ярыгин отправил письмо Оле, а обратный адрес указал Дуняши. После ранения о себе вестей не подавал. И вдруг однажды, прямо на уроке, его окликнула племянница Кларочка:

— Дядя, на два слова можно? Зайди к нам, мама зовёт. Срочно!

Взглянул на сестру и понял: «оно случилось». То, о чём мечтал, чего опасался, к чему тянулся сердцем... Прошлое настигло его, вернулось.

— Садись, братик, чай будем пить с земляничным вареньем.

Сестра разлила чай по стаканам, внимательно наблюдая за братом.

— Не догадываешься, чего это я с чаем да вареньем такая добрая?

Александр боялся пошевелиться, заговорить, боялся «спугнуть»: «Неужели?... Не может быть».

Вслух повторил:

— Неужели? Не может быть...

— Ждал? Ох ты, Боже мой, Санёк... Санёк...

Дуняша принесла деревянную шкатулку с зимним пейзажем в овале крышки, открыла её, вынула конверт. Повернувшись к брату с каким-то полудетским упрёком и сожалением в голосе молвила:

— И зачем я тебя послушалась, почему не сообщила Оле о том, что ты вернулся? Не до того было, помню. Умом понимаю, но сердце... Ладно, читай, чего уж... Ох ты, Боже мой!

Александр Никитич дрожащими пальцами вскрыл конверт и начал читать. Слёзы заливали глаза, но он упорно таращился на расплывающиеся строчки. Потом спохватился, украдкой промокнул рукавом глаза; сидел и смотрел в одну точку. Смотрел на знакомые буквы, строчки – казалось, что дышал её дыханием, ощущал её присутствие. Перечитывал заново, улыбался, тихонько плакал, снова читал и снова перечитывал. Когда оторвался от письма и взглянул на Дуню, увидел, что и она вся в слезах – улыбается.

— Доволен? Ну что, братик, как там у Оленьки дела? Всё хорошо?

— Беспокоится Оля, за меня печалится. Надо ответить... надо ответить... пойду я... спасибо тебе, сестрёнка... за всё...

Кто-то скажет: ну и что с того, что письмо? А вот и нет! Всё изменилось с того дня. «Я нужен! Обо мне думают! Меня любят!» — тепло

разливалось в груди. Осознание того, что ты кому-то нужен, даёт человеку смысл жить и силы для жизни.

Оля писала, что переехала в Тамбовскую область, что в прошлом году похоронила папу, что живут они вдвоем с сыном. Вот это «с сыном» и обескуражило Ярыгина. «Неужели? А почему нет? Конечно, мой!» — он был уверен, что сын его. Уверен и всё! Переписка между ними возобновилась — «тайная» переписка. Оля сообщила, что работает в школе и заведует клубом в небольшом городке, в двадцати километрах от Тамбова. Она ни одним словом не обмолвилась о его молчании. Не упрекнула. Только заметила, что не может смириться с тем, что он женился на «простой» женщине.

«С твоей тонкой натурой, — заметила она, — складом ума, отношением к справедливости и вот так... Хотя о чём я говорю? Нам бы выздороветь, успеть подготовить наши души для полёта. Куда мы искалеченные? Кому? Нам только в храм — поближе к Богу... а ещё к любимым. Любимые не предадут! Помни это, Александр Никитич...»

## Глава 13. На островах

Александр Никитич, появилось какое «окошко», он скорей на природу: на рыбалку, на охоту, за ягодой, орехом, не важно, лишь бы подальше от людской суеты. Но и с пользой для семьи, разумеется. С пустыми руками редко возвращался. Охотником, да и рыбаком, слыл удачливым. Река и тайга выручали: кормили, поили, одевали, а главное – душу лечили.

Не всегда получалось «улизнуть» по уважительным причинам, но он не упускал случая побыть наедине с природой, наедине с самим собой. Порассуждать на просторе, не опасаясь, что кто-то подслушает, помешает или, чем чёрт не шутит, донесёт «куда надо». Не с кем поговорить по душам, не с кем поделиться наболевшим; любое слово если прилюдно, то с оглядкой... Сомнения, вопросы без ответов... и снова сомнения. Тяжёлая ноша повседневности давила на плечи, будто короед, точила изнутри. Не желают деревенские «сомневаться» на людях. Прячутся. За высокими заборами укрываются, поодиночке «сомневаются». Ярыгин с утра до ночи на виду. В школе не оттолчешься, дома и подавно. «Семеро по лавкам» – это о нём. Растут дети и тоже с вопросами...

С 48-го по 55-й год шестерыми обзавелись: Виталий, Миша, Вадик, Вася, Ниночка, Кларочка! А в 64-м – нежданно-негаданно – Машенька родилась! Вот уж повезло с наследниками, так повезло!

— Золотые ребятишки у нас, Наташа, и ты у меня умница! — обняв жену, переполненный отцовскими чувствами, молвил Ярыгин.

Сказал, а сердце дрогнуло, жалось, заныло в груди. Слова Натальи ножом по сердцу:

— А ты только и способен, что штаны протирать... за копейки.

И как отрезало. Рванул фуфайку с вешалки – и вон из избы. Застонал на морозе раненым медведем. «Ребятишек не брошу, они ни при чём. Потерплю». И снова стон из груди.

Нащупал Олино письмо во внутреннем кармане пиджака. Только вчера получил, не успел наизусть выучить. «Надо спрятать от гре-

ха подальше». Письма помогали, поддерживали, но и почву из-под ног выбивали.

— На что надеешься, Санёк? — пытался успокоить «второй», внутри. — Не вернуть прошлое. Сгорело оно, перегорело, в небытие кануло. Лучше уж не будет. Смирись. Ради детей смирись.

— Но ведь не любит она меня, — возражал Санек, — живём вместе, а любви не нажили. Детей рожаем «по привычке», как говорит тёща. Как же так? Ни с чем за душой... и ради чего? Тошно мне, ох и тошно...

...Районный особист Филин давно зуб точил на Ярыгина. Не взлюбил учителя и всё тут, бурчал под нос: «Хитрый этот учитель, умный, осторожный; и на рожон не лезет, и язык за зубами держать умеет, не высовывается. Один недостаток, он его с головой выдаёт, — читает больно много, а это настораживает! И книжки у него всё больше не наши, с сомнительным уклоном книжечки. Историю ему подавай с философией и никак не меньше. Читал бы о войне, о шпионах, а то... И что у него на уме? Пойди, разберись на трезвую голову. Мне, что ли, перечитывать за ним этих самых Платонов с Геродотами? Это кто такие — растудить твою тудыть!» — психовал Филин.

«Маркс, Энгельс, Ленин — с этими понятно — это наши, советские граждане. А что прикажете с этими делать: с Петром, Екатериной, Чингисханом, Македонским, Иваном Грозным? Их к каким отнести? К белым, красным, к неблагонадёжным? Тьфу, зараза! И не подкопаешься: история, видите ли, с философией... На хрена ему в нашей глуши этот Геродот с Платоном дался? Детей настругал, в директорах ходит, жена пальчики оближешь — красавица! А ему неймётся. Вон фельдшер Шамсутдинов — тоже культурный человек, к нему и зайти одно удовольствие: в колбочке спирт медицинский, в графинчике самогоночка хлебная на рябинке настоящая! Он и в шахматы, и в шашки за милую душу. Чем не приятель? Глядишь, подружился бы. А там рыбалка, оба заядлые рыбаки, кирюхами бы стали. И мне спокойней, и им не накладно. Так нет же, он Пифагора выбрал на мою голову. Тьфу ты!..»

...Александр Никитич вёл свой, личный календарь: расписал времена года по месяцам, датам, неделям, дням. Рассчитал для себя, когда какой «день год кормит», и старался придерживаться этих дат.

К примеру, открывается сезон охоты — семья со свежатиной на столе; поспели грибы, ягода, орех — закрома полны-полнёхоньки. Варенье на любой вкус, грибочки солёные, маринованные, орешки калёные; рыбка не выводилась круглый год: солёная, вяленая, свежемороженая.

Сенокос, заготовка дров, уборка урожая – туда же, в закрома. Заботы, заботы... плюс школа. Хотя нет – школа, разумеется, на первом месте. О какой личной жизни речь? Поспать некогда – всё бегом, всё на ходу, – выручал календарь.

...Приближался сенокос. Сегодня Александр Никитич выехал за темно. Лодчонка, надрывно тарахтя выдавшим виды мотором, отчаянно боролась с тугим напором Киренки. Таёжная речка, разделившись на десятки рукавов, паутиной накрыла широкую полосу тайги. Вольно разливаясь и блестя шиверой на мелководье, она с шумом втискивалась в узкие расщелины меж сопок, с грохотом круша склизкие зелёные валуны на перекатах. Отдохнув на песочной косе, с разбегу нырляла в глубокие ямы, а вынырнув, щетинилась частоколом камыша на тихих заводях. «Вот она, свобода выбора! – восхищался Ярыгин. – Вот как надо жить! Жить, как душа велит!»

Лодка, не сбавляя ход, проскакивала одну отмель за другой. Слышно было, как камешки постукивают о днище, но винт оставался невредим. Человек и лодка, будто единый организм, слились – шли на ощупь; интуиция таёжника не подводила. «Филигранная работа, – усмехнулся Ярыгин, – руки помнят реку, руки помнят всё!»

Протоки, искромсав тайгу на причудливые лоскутки, образовали бесчисленное количество островов, спрятавшихся под сводами лохматых сосен, молчаливых лиственниц и голубого кедрача. С ранней весны и до поздней осени острова радовали глаз калейдоскопом ярких красок, немыслимых оттенков. В начале лета кутались в сиреневый туман багульника и полыхали кострами жарков, к середине – нежно переливались розовым иван-чаем и желтыми лилиями, позже – укрывались коврами алых саранок и белоснежных ромашек. И весь этот «рай» мелодично раскачивался на волнах длинновласого ковыля. На островах царили покой и благодать. Шумели только птицы. Но разве это шум? Это музыка для души! Любимые места для уединения и единения...

Александр Никитич направил лодку к знакомой заводи. Искусно маневрируя, проскочил мохнатые валуны, обогнул серую корягу, похожую на лешего, прикинув на течение, заложил мастерский вираж и на «бреющем» дотянул до берега, мягко ткнувшись носом в плешистую кочку, похожую на лысеющий затылок фельдшера Шамсутдинова.

«Добрались, слава Богу!» Лайка по кличке Байкал спрыгнула прямо в воду и, озорно твякая, ринулась к прибрежным кустам. «Бурундука, видать, почуял или белку, – сам машинально потянулся к ружью, – ишь как подхватился с места в карьер, засиделся на привязи».



Вытянув лодку на сухое, подхватил потрёпанный рюкзак и зашагал вглубь острова. За пять минут добрался до старенького зимовья. Почерневшие от времени брёвна испещрены трещинами, а по торцам зияли глубокими щербинами. Сама избушка напоминала каменную пещеру, не зимовье. По всему видать, давно и многим давала приют. Не только охотникам, рыбакам, но и вольным бродягам и беглым каторжникам тоже.

Пока разгорался костёр, решил прибраться в зимовье. Из-под навеса, сбитого на скорую руку, принёс две охапки прошлогоднего сена с ароматом хвои и минувшей зимы, свалил на нары и тщательно расправил. Подумав, ещё раз сходил за сеном. Закончив с постелью, с удовольствием отметил: «Царское ложе! Ни дать ни взять. Одному грех лечь...» Нахмурился, услышав, как заныло в груди: «Не будет тебе покоя, Санёк, не надейся. Эх-хо...» — горько усмехнулся и потянулся к котелку с кипятком, бросил пару щепоток грузинского, добавил листочки смородины, прикрыл дощечкой и оставил настояться. Обожаю, пока чай наберёт крепость, налил в кружку и устроился на пенёчке. Призадумался. «Жизнь пролетела как один миг... Неужели у всех так... Чего-то ждёшь, надеешься, важное на потом оставляешь, а в результате... Стоп-стоп! — прервал себя, — с результатом рановато, да и с выводами погодить бы, не стоит торопиться. Время ещё есть — пока есть»...

Допив чай, решил прогуляться вглубь острова, разведать, не пересохла ли трава. Весь май стояла жара, да и сейчас печёт спасу нет. Обогнув заросли облепихи и миновав неглубокую балку, Ярыгин оказался у края широкой поляны, убегающей дальним краем к горизонту. Байкал, как чумной, вылетел из зарослей и чуть не свалил хозяина с ног, с разбегу врезавшись широким лбом в колени. Сообразив, что оплошал, пёс присел на задние лапы, прижал острые ушки к красивой голове и энергично завилял пушистым хвостом. Пару раз тявкнул, взвизгнул, крутнулся на месте и замер, скаля белые клыки в счастливой улыбке: прости, мол, хозяин, совсем голову потерял на воле.

— Не извиняйся, понимаю тебя, веселись на здоровье. Под ноги смотри, а то расшибёшься в кровь.

Ярыгин потрепал пса по загривку. Байкал от избытка чувств со всей дури метнулся на грудь, пытаясь лизнуть в губы. И лизнул...

— Знаю, знаю, любишь — взаимно! Но мужчинам не пристало целоваться в засос. Меня коробит от новой моды, — кивнул в направлении «запада», — и тебе не советую подражать «им»... тьфу, стыдоба.

Инцидент был исчерпан. Пёс счастливый снова юркнул в кустарник и был таков. Александр Никитич, утопая где по пояс, а где

и по грудь в душистых травах, с удовольствием отметил: «По всему видать, не пересохла травушка, наоборот – соком налилась под завязку, косить будет одно удовольствие. С двумя сыновьями: Виталику – четырнадцать, Мише – десять и с доченькой Кларочкой удовольствие не из лёгких. Но пацаны у меня молодцы – не по годам помощники! Остальные «гвардейцы» пусть подрастают, да и по дому работы хватает. Куда ни глянь, везде руки требуются. С утра до ночи в заботах, а иначе никак, иначе «зубы на полку»...

...Сенокос – с какой стороны ни посмотри – хорошее подспорье. Для учительской семьи финансовый вопрос – тот ещё вопрос! «Почему так сложно выживать деревенской интеллигенции в условиях деревни? – Александр Никитич хмыкнул. – Читайте историю, читайте классиков, господа-товарищи, тогда и поймёте почему? Нарушен вековой уклад деревни; уничтожена сама культура взаимоотношения крестьянина с землёй; в зародыше задавлено понятие «частная собственность». Да и не было её на Руси, этой «собственности» по большому счёту никогда. Пытались – да сломались».

— И что? Дальше как? – Ярыгин привык задавать вопросы и отвечать на них. Себе и тому, «поперечному», который в голове поселился.

— Верните кресты на храмы, а там посмотрим. Отвернувшись от Бога, угодили в лапы Сатаны. С чем и поздравляю вас, люди добрые!

— Тебе бы книжки писать «запрещённые», — усмехнулся «поперечный», — далеко бы пошёл, пока не остановили. Особист Филин не дремлет. Присматривается, принимает...

Скривил рот, но промолчал. После паузы будто на предохранитель поставил: «Спокойно, Санёк, всё под контролем. Спокойно... Ребятишек к школе одевать надо? Надо! А их семеро сорванцов – растут, как на дрожжах. За лето раздадутся на вольных хлебах, а к школе форму вынь да положи. Чтоб всё с иголочки. Пальтишки для дочек, валенки, кофточки; фуфайки для пацанов, шапки... всё надо. Вот и выходим из положения, кто как горазд. Кому сказать – засмеют, не поверят. Просеки прорубаем вдоль телефонной линии да сено который год косим на островах. Работка, я вам скажу, та ещё работка – будь она неладна. Гнус, мошка: лицо, шею, руки до крови объедают. Веки распухают так, что глаз не видать; напрочь заплывают. Ладно, я взрослый, а ребятам какво? Терпят! Наравне со мной упираются: косят, гребут, стога мечут. Помощники! Наталья Петровна тоже не присядет: и по хозяйству, и в школе, и шьёт на заказ. А денег как не хватало, так и не хватает. На самое необходимое: одеться прилично – и то проблема. Один костюм на все

случаи жизни, а я директор школы – не хухры-мухры! Бывало, на новое место переедем – и давай «новую» школу ремонтировать. Сами белим, красим, окна конопатим; всё своими руками. Наглядные пособия: учебники, тетрадки, мел, тряпки – всё за свой счёт. Как-то умудрился, вместо того чтобы Наташину заявку выполнить, из города глобус припёр. Думал, на голову наденет. Обошлось. Когда-нибудь точно наденет. Не умею крутиться, как её «бывший»... Тыфу ты, вспомнил...

...Река в половодье широко разливалась, острова под воду уходили. Вот и дурила трава с человечесий рост. Взрослого с головой укрывала, ребятшек и подавно. С одного краю дом инвалидов косил, с другого «Узел связи» – почта. На почте своя конюшня имелась. Конюх из «бывших» – зверь мужик! За лошадами сам приглядывал в четыре глаза и за коллективом в четыре. Разговор у него с нерадивыми короткий... нагайку из рук не выпускал. Если что не так (какой недогляд за лошадами) – пиши пропало. Выпорет по первое число, невзирая на звания и ранги. Прилюдно Кузьмичом величали конюха, за глаза – «оборотнем». Сам-то он из золотарей – рисковый народ, сам себе на уме. К таким с расспросами не лезь. Тут куда ни глянь, каждый со своей мастью. У того белым отсвечивает, у другого черней ночи, у третьего кумачом отликает. Меньше знаешь – крепче спишь. А узнал что, лучше помалкивай – дольше проживёшь...

...Косили вручную. Литовки, грабли, вилы... С утра до ночи – и никаких тебе отгулов. Зарод метали на глазок, но каждый раз, как по заказу, на восемь тонн вытягивал. Сдавали по семь копеек за килограмм. Выходило пятьсот шестьдесят рубликов, минус подоходный 60 рублей. Итого: пятьсот на руки чистоганом. Если учесть, что зарплата у деревенского учителя и до сотни не дотягивала (в районе шестидесяти, семидесяти), то прибавка к семейному бюджету в размере пятисот рублей очень даже ощутимая.

Хорошо, Наталья Петровна выручала – портниха искусная; у неё и клиенты свои. «Повезло с женой», – крикнул Ярыгин... После смерти Серёжи врачи ей объявили, как приговор вынесли: «Не ждите деток, не будет у вас наследников, не способны вы забеременеть».

А вышло вона как: семеро! Сыновья и дочери – и все как на подбор!

Как Лука предсказал, так, слово в слово, всё исполнилось. Что тут скажешь? Противиться глупо – слушать надо и слышать. Доказывать прилюдно? Не стоит рисковать. Лука предупреждал: «Плетью обуха не перешибить. Сохранить надобно то, что Господь завещал: верность вере, преданность слову Божью и самокон-

троль за мыслями и поступками. Принять руку Господа. Не отвергать любовь святую. Восставать против зла. Силы копить, братьев сберечь, сестёр защитить, на рожон не лезть, но и в стороне не стоять. Ведь были же на Руси мудрецы, святые, пророки, создатели великих культур, писатели, композиторы... просто чистые люди, наконец. Извели безбожники окаянные. Детей бы уберечь от безверия – вот что важно!..»

## Глава 14. Приданое с того света?

Однажды Сусанна Андриановна вынесла из своей комнаты и положила перед зятем картонную коробку. «Похоже, из-под обуви, старинная», — отметил Ярыгин.

— Открывай, Александр Никитич, не стесняйся, — торжественно объявила тёща. — С этого момента это твой крест, мне одной не осилить дальше нести, больно тяжёл оказался. Тебе в самый раз, ты вон какой богатырь, принимай эстафету.

Открыв коробку, Ярыгин обнаружил, что в ней хранились письма (чья-то переписка) и две толстые рукописные тетради (скорее, книги), исписанные мелким, убористым почерком. Странички были тонкими, полупрозрачными, обложка плотной, а ручной переплёт настолько искусным и прочным, сомнений не оставалось – трудился мастер.

Просматривая письма, вчитываясь в тексты, Александр Никитич так увлёкся, что позабыл обо всём на свете. То там, то тут он натёкался на «ответы», которые мучительно искал столько лет сам, особенно в последнее время. Не всегда прямые ответы, зато подсказки встречались повсюду, на каждом шагу. Информация настолько ценная и неожиданная, что голова шла кругом.

— Откуда это у Вас, Сусанна Андриановна?

— От моей соседки мне в приданое досталось. Тётя Катя, отсидев не один десяток лет в царских казематах только за то, что посвятила свою жизнь просвещению простых людей – желанию помочь нам вспомнить, кто мы есть на самом деле и какой жизни достойны, – в конце концов, покинула Россию, как покинули сотни её сподвижников. Жила за границей, в Америке. Открытку от неё как-то получила, заграничную – давно, правда, до войны ещё.

Это ещё не всё: в чулане хранится сундучок, до краёв набитый книжками, газетами, журналами. Не простыми книжками – особенными. Там о наших предках, о славянах, о старой вере в дохристианской Руси интересные сведения прописаны. Эх, какой мы народ,

Александр Никитич! Почитаешь – загордишься собой. Честный, гордый, трудолюбивый, богов своих славивший. Отсюда и славяне.

— Спасибо, дорогая моя тёща, вовремя ты с сундучком. Если бы не ты со своей добротой, давно бы всё прахом. Повезло мне с тобой.

— И мне с тобой, Александр... — Сусанна Андриановна неожиданно обняла зятя, прижалась крепким телом, их губы встретились...

«Какие тёплые, молодые у неё губы и... вкусные...» Будто смерч пронёсся... сердце на миг замерло, остановилось, потом набатом ударило в груди. В голове вспышки от трассирующих; перед глазами карусель; в окне на полнеба радуга...

Он увлёк, сам не соображая куда, не владеющую собой женщину. Сусанна не сопротивлялась — она шагнула навстречу любимому мужчине.

Случилось то, чего они сами никак не ожидали, оно поднялось неизвестно откуда, как озарение, и прежде всего для них самих.

«А ведь я мечтал о ней с первой нашей встречи», — мелькнула заполoshная мысль и тут же обратилась в пепел... Всё случилось так неожиданно и так естественно, что ни о каких угрызениях совести не могло идти речи.

— Ради того, чтобы узнать тебя, быть нужной тебе, ради этого стоило жить. Не кори себя, Санечка, ты вернул меня к жизни, у меня появился смысл, силы. После смерти внука только и мечтала, что в омут головой. Ты меня от смерти отвернул, в тебе спасение наша. Всю оставшуюся жизнь буду благодарить Бога за то, что узнала тебя... и себя рядом с тобой. Если это и грех, вымолю прощение за тебя и за себя. Ночи напролёт Бога молить буду. Вымолю!

Она не прятала глаз: смотрела прямо, смотрела и светилась...

Ярыгин любовался красавицей казачкой, по немыслимому стечению обстоятельств оказавшейся его тёщей. «А мы ведь с ней, считай, ровесники. И мне легко с ней и хорошо... Мысли путались в голове. Удивительное дело, от тёщи слышу слова, которые никогда не услышу от жены». Он попытался сказать что-то мудрое, дальновидное, успокаивающее:

— Случилось то, что должно было случиться... Невозможно принять сердцем, чтобы наша встреча оказалась грехом.

Сусанна Андриановна всё поняла. Она дотронулась до руки зятя и тихо, но решительно произнесла:

— Это был первый и последний раз. Мне этих минут до конца дней хватит... Не стоит, Санечка, испытывать судьбу. Это был мой бабий час – и точка ...

Сомнений не оставалось: так и будет. Казачка! Сказала – как шашкой рассекла.

— Не будем зарекаться – впереди столько всего... впереди целая жизнь. Никого, кроме нас, не интересует наша тайна.

И это было правдой. Никому не было дел до Саниной жизни.

Сусанна Андриановна вышла из комнаты зятя, унося с собой частицу его тепла, принадлежащую только ей одной. Она сбережёт это тепло; оно будет согревать её до последнего часа. И сдержит своё слово: это был единственный раз, когда «смерч», «набат» и «в полнеба радуга»...

Со стороны всё выглядело как всегда, без особых перемен. Да и что тут заподозришь, когда отношения между зятем и тещей всегда были тёплыми и доверительными. Непреодолимое взаимное влечение – оно как гром среди ясного неба. От человека мало что зависит. Будь он хоть трижды святым. Разверзлись небеса – и ты «погиб» (а может, ожил) в объятиях той, о которой и мечтать не смел. Тут не до морали – тут либо испытать и стать богаче на целую жизнь, либо отказаться и жалеть до конца дней своих.

Грех, скажете? А жить без любви, детей рожать по «давней бабьей привычке» – это ли не грех?

## Глава 15. Рукопись

«А жизнь текла полноводной Леной, не отвлекаясь на людские переживания: угрызения совести, раскаяния, заботы, надежды, радости, горести. Ей было не до людей, хотя, возможно, когда-то, давным-давно, когда человека и в помине не было... было хорошо. Или было хорошо, когда жизнь разговаривала с нашим не таким уж далёким предком на понятном ему языке?» — припозднившись за тетрадками, рассуждал Ярыгин. И будто услышал в ответ:

— Люди воображают, что если они, словно одержимые, будут летать из одного конца в другой на своих самолётах, то они уже владеют миром. На самом деле это ложное представление и о мире, и о месте человека в нём. Чем дальше по этому пути идёт человек, тем больше и больше покушается на то, к чему не имеет ни малейшего отношения, покушается на то, что ему никогда не принадлежало и вряд ли будет принадлежать в будущем. Не будет! С одержимостью маньяка он взялся покорять природу: добывать, истреблять, а по сути, уничтожать самую суть бытия, превращая Землю в пустыню. Всё это неизбежно плохо кончится. А безудержная гонка в «никуда» рано или поздно доведёт людей: одних до полного отупения, других до безумия.

— Так и есть, — согласился Ярыгин. — В чём же причина всеобщего сумасшествия? И еще: откуда взялась у нас, у русских, эта ненависть к своим же – русским? Это только кажется, что никто ничего не замечает. Не предчувствует подмены искони наших, славянских ценностей – многовекового, доверительного диалога с Богом – на «иезуитские» лозунги партийных вождей. Неправда, что мы не предчувствуем надвигающуюся катастрофу. Мы предчувствуем. Надо сопротивляться! Епископ Лука учил: без любви, без справедливости не возвести храма веры на пепелищах безверия. Доверие оживляет душу, согревает сердце, наполняя кровь эликсиром божественной любви к ближнему. Не воздвигнув храма в собственном сердце, вряд ли построишь его на земле.



...Было далеко за полночь. Слышался мирный ночной шорох в избе. Посапывали, бормотали спросонья дети, переживая и осмысливая наедине с собой события минувшего дня. Чья-то заботливая рука с выверенной точностью расставляла перед детскими взорами картины вселенских мастеров, воссоздающих на полотне вечности панорамы истинных миров – миров, доступных нашему воображению до тех пор, пока по нашим жилам течёт кровь, наполненная божественной любовью к ближнему.

Треснула головешка в задремавшей печи. Тишина! Александр Никитич сидел у лампы, склонившись над рукописью. Перед его взором распахла свои объятия «другая правда». Правда нашла свой новый адресат. В рукописной книге он наткнулся на рассуждения о судьбе России, принадлежащие Керенскому А. Ф.

«Неужели тот самый Керенский? – опешил, усомнившись, Александр Никитич. – Вот так новость!» Это был действительно он, Александр Фёдорович Керенский, последний министр-председатель Временного правительства в 1917 году.

(Здесь приведены выдержки из рукописных книг, а также небольшие фрагменты из переписки двух незаурядных людей, доказавших любовь к России своими помыслами и делами.)

*\*\*\*«Для русского крестьянства земля была источником существования, а не капиталистической прибыли. Отсюда глубокая вера русского крестьянина, что «земля ничья, а Божья».*

*\*\*\*«Русский крестьянин был неграмотен или малограмотен до начала XX века. Его не коснулась европейская цивилизация. Но это вовсе не значит, что он был совершенным духовным «варваром». История России насыщена напряжённой борьбой крестьянских низов за раскрепощение, насыщена глубокими религиозными движениями, поисками «правды Божьей». Эти движения привлекали к себе мало внимания воспитанной на западном рационализме левой русской интеллигенции. Но не было большого русского писателя или мыслителя, который об этом бы не знал, каждый из них прислушивался, как Достоевский и Толстой, к смутным, но глубоким религиозным и социальным переживаниям русской народной души.*

*Чем можно объяснить тот факт, что ещё в первой половине позапрошлого столетия выходцы из высшего русского дворянства, как славянофилы Хомяков и Аксаков, западники Герцен и Бакунин, возненавидели европейский буржуазный строй, отрицали непри-*

косновенность частной собственности, преклонялись перед крестьянской общиной?»

\*\*\*«С незапамятных времён русское сознание было насыщено религиозными настроениями. На самой заре своей сознательной исторической жизни русский народ был зачарован Христом, униженным, страдающим, отдающим себя на смерть для искупления мира. В течение веков оторванные от всего внешнего мира наши предки, лишённые науки, философии, оставались только с Евангелием. Как бы ни воевало государство с официальной русской церковью, христианство оставалось в сознании, в быту, наполняло собой всю жизнь человека. Отсюда наши исконные своеобразные черты национального характера.

Мы всегда ставили справедливость в отношениях между людьми выше формального права. Материальное, имущественное неравенство мы всегда ощущали как социальную несправедливость. Стремление к обогащению искони считалось несправедливым, стыдным. В цивилизованном мире нет такого другого народа, столь безразличного к богатству. Класс, накапливающий богатство, буржуазия, на протяжении всей русской истории была пасынком среди прочих социальных групп русского общества. Привилегированные классы России жили всегда с ощущением какого-то совершенного ими «греха» перед народом.

Вот против такой страны, такого народа и была направлена вся мощь вооружённой до зубов, истекающей от жадности слюной, алчной и подлой в своих устремлениях – любой ценой захватить наши земли – западной армады европейских соседей.

До глубины души верующий царь, посвятивший свою жизнь процветанию России, с одной стороны; и дворянство, в большинстве своём предавшее его, повсеместно тормозящее все экономические реформы, желавшее поражения русскому оружию на суше и на море в войне с Японией; и его народ, отвернувшийся от веры, вступивший на губительный путь революционного атеизма, – это только малая часть тех предпосылок, благодаря которым оказалась возможна победа революции большевиков в России в 1917 году».

Александр Никитич откинулся на спинку стула, задумался: «...и его народ, отвернувшийся от веры, вступивший на губительный путь революционного атеизма...» А не эта ли главная причина всех наших бед? Отвернувшийся от веры – от Бога! – его народ...

Пошатнув веру к Богу, легко подорвать доверие к царю (к власти), а у царя – к его народу.

Отвернуть Россию от веры: запутать людей, затуманить разум, перессорить, развести по разные стороны – и уничтожить. И всё это с одной лишь целью: любой ценой захватить исконно славянские земли. Земли, насквозь пропитанные кровью наших отважных предков: отцов, дедов, прадедов... полян, древлян, кривичей...

Ярыгин вышел на крыльцо, подкурил папиросу и долго всматривался в звёздное небо. Он чувствовал этот взгляд. Взгляд излучал завораживающее, всепроникающее тепло. Будто в глубине бездны миров ожил исполинский вулкан, бешеный жар которого вот-вот достигнет планеты Земля: опалит огнём, очистит людские души от всякой скверны, освободит от разной нечисти.

Он ухмыльнулся: «Отвернуть Россию от веры в Россию? Кишка тонка, господ-товарищи!..»

## Глава 16. Запретная история

Ярыгин чувствовал, что с каждым днём в душе его растёт протест: молчаливый снаружи, клокочущий невысказанностью внутри, непримиримый, пожирающий волю, вводящий в ступор. Протест против установленных «правил игры» с одной лишь целью: обмануть, запутать, закружить, удержать в неведении и страхе. Протест против сокрытия самой истины, против гнетущей тоски сердца, против самого себя, наконец. Бессилие от невозможности что-либо изменить, осознание абсурдности всеобщего движения «в никуда», неприятие бессмысленности усилий в поисках «народного счастья» там, где его не могло быть и в помине, – отнимало жизненные силы. В миру притуплялось ощущение радости бытия, угасало желание сопротивляться отлаженному порядку – «железной дисциплине». Грусть-тоска поселилась в сердце. Она безразлично вглядывалась в каждый прожитый день и в непрожитый тоже.

Но где-то «там», в мерцающих даях, не смирилась мечущаяся душа. Она скучала по «хаосу», всё настойчивей и настойчивей взывая к бунту: «бессмысленному, беспощадному... русскому». Из неведомых глубин всё настойчивей и настойчивей доносились отзвуки «славянской вольницы».

Ярыгин припомнил, что уже слышал, читал подобное ещё до войны, работая на золотых приисках бок о бок с «врагами народа».

«Минуло полжизни – и что изменилось? Я читаю исповедь человека, предназначенную для будущих поколений. Не оправдание – нет! – откровение. Я испытываю сожаление и горе оттого, что русские снова – в который уж раз – не слышали русских! Единый народ – и по разные стороны... Ради чего? Ради кого?»

Для Ярыгина то, что он прочтёт дальше, было как камнепад на голову. «Где мы были тогда, русские? — кричало сердце. — Где мы будем, если не бунт?»

Этот листок, исписанный мелким, каллиграфическим почерком, лежал отдельно в сером конверте. На конверте рукой Керен-

ского подписано: «1904–1917 – Мы трудились, не щадя живота своего, на благо нашего Отечества».

Александр Никитич разложил листочки по порядку и принялся читать.

\*\*\* «Тот, кто хочет судить о России, – ещё в семидесятых годах XIX века писал в своем «Дневнике» Достоевский, – должен судить о ней не по тем пакостям, которые делаются от её имени, а по тем идеалам и целям, к которым стремится русский народ».

\*\*\* «История русского народа трагична и несчастна. Живя столетиями, как в осаждённой крепости, борясь вечно за своё существование, Россия не имела никогда достаточно времени и сил, чтобы заняться без помех своим внутренним устройством. Но через всю историю России можно проследить, что воля русского народа была всегда направлена к свободе, а не к насилию. Когда нам говорят, что тоталитарная диктатура гораздо больше соответствует русскому духу, традициям русского прошлого, чем западная демократия, мы можем в ответ сказать только одно: посмотрите, чего добивается русский народ, когда он может проявить свою свободную волю!»

\*\*\* «17 октября 1905 года народ получил свободу. Это был царский манифест. Вот его суть:

1) «Представить населению неизменные основы гражданской свободы на принципах действительной неразделимости человека и свободы совести, слова, собраний и обществ;

2) Безотлагательные выборы, предоставляя, насколько это возможно, право участвовать в них тем слоям населения, которые в настоящее время практически лишены права голоса, заменяя «недавно установленный порядок управления» дальнейшим развитием принципа всеобщего избирательного права;

3) Установить в качестве незыблемого правила, что закон не может войти в силу без предварительного одобрения его Государственной Думой и что представители народа могли бы гарантировать эффективное участие в инспектировании законности действий наших официальных лиц».

Стало совершенно понятно, что с этого момента неограниченное самодержавие в России кануло в вечность! Без Думы император не имел права издавать законы. Россия по воле народа получила политическую свободу. Началась новая глава русской

истории. Конечно, борьба продолжалась, но другая борьба и в совершенно других условиях. Началась борьба уже не за уничтожение неограниченной власти, а за формы нового, свободного государственного строя...»

(Это выписка из книги «Русские школы и университеты в годы мировой войны». Книга написана знатоками положения народного образования в России проф. Д. Одинцом и проф. П. Новгородцевым с предисловием бывшего министра народного образования П. И. Игнатьева.)

\*\*\* «Высшие и средние заведения России по социальному составу учащихся были самыми демократическими в Европе. А для народного образования «дворянские» земства ещё додумного периода тратили 25 % своего бюджета. Теперь они стали тратить одну треть. Только за десять лет – с 1900 по 1910 год – правительственные субсидии на народное образование увеличились в 12 раз.

В 1906 году в России было 76 тысяч народных школ и около 4 миллионов учащихся в них. В 1915 году школ стало уже свыше 122 тысяч с 8 миллионами учащихся. За это время срок пребывания детей в школах был увеличен и программа так расширена, чтобы дать возможность каждому способному крестьянскому ребёнку прямо из начальной школы переходить в среднюю школу. Народные школы не только обучали детей, но и сделали центром для внешкольного образования взрослых крестьян. При школах устраивались библиотеки, популярные лекции, вечерние и воскресные занятия для взрослых, театральные спектакли. Для самих народных учителей земства и кооперативы организовывали особые курсы. Ежегодно устраивались почти бесплатно экскурсии для учителей за границу. Тысячи народных учителей перед войной побывали в Италии, Франции, Германии и т. д.»

«Одним словом, – пишут авторы упомянутой книги, – заключение, которое нужно сделать из общего состояния начального и среднего образования в России в годы, непосредственно предшествующие войне, состоит в том, что за всю историю русской цивилизации никогда не было столь быстрого распространения образования, как в рассматриваемый период...»

\*\*\* «Наряду со стремительным ростом грамотности земствами вместе с Думой и кооперативами были достигнуты очень большие результаты в области земледельческой культуры. С 1906 по 1913 год площадь обрабатываемых земель увеличилась на 16 процентов и урожайность на 41 процент. За это время смета земств

для агрономической помощи крестьянскому населению увеличилась в 6 раз. По всей стране земства, а в Сибири, где земств не было, правительство усиленно помогало крестьянину в переходе к машинному хозяйству. Правительственный Крестьянский Земельный Банк скупал десятки миллионов акров земли у помещиков для перепродажи их крестьянам. Кредитные кооперативы и земства снабжали крестьян инвентарём. В начале войны уже 89, 3 процента пригодного для обработки земельного фонда находилось в руках крестьян. Средний крестьянский участок земли был от 30 до 75 акров. За годы хозяйственного расцвета России перед войной (1914) вывоз сельскохозяйственных продуктов из России вырос в полтора раза. А роль России и на внешнем, и на внутреннем рынке крестьянского хозяйства была подавляющей. Три четверти зерна и льна, почти всё масло, яйцо и овощи, мясо – всё это поставлялось крестьянскими хозяйствами и крестьянскими кооперативами.

Вместе с переходом земель в руки крестьян и стремительным ростом удельного веса крестьянского хозяйства (фактически помещичье хозяйство к этому времени сошло почти на нет) в деревне развернулось с помощью правительства, земств и тех же кооперативов огромное движение для переселения на новые места. Именно тогда Сибирь вступила в совершенно американский период хозяйственного и культурного развития. Между двумя войнами (японской и первой мировой) население удвоилось. Сельскохозяйственная продукция увеличилась более чем в три раза, сельскохозяйственный вывоз – в 10 раз. Перед первой мировой войной (1914) весь рынок импортируемого из России масла в Англию был в руках кооперативных союзов Сибири. В 1899 году экспорта масла из Сибири почти не существовало. В 1915 году кооперативы вывозили 100 тысяч тонн.

Вывод. Именно в кооперативном движении, получившем в конституционном движении России свободу развития, русский народ и в особенности крестьянство проявили свою способность к самостоятельности и организации. Перед войной около половины крестьянских хозяйств были втянуты в кооперативное движение, которое в это время заняло в Европе второе место после Англии. В 1905 году в крестьянских кредитных кооперативах было 729 000 человек, а в 1916 – 10 500 000. В 1905 году общая сумма вкладов в этих кооперативах была на 37 с половиной миллионов золотых рублей, а в 1916 году – на 682,3 миллиона. В такой же пропорции росло и кооперативное движение в городах. Федерация потребительских кооперативов, возглавляемая в Москве Центральным Союзом, стала одной из весьма влиятельных

общественных и даже политических сил России. Организуя широкие слои населения, подводя базу под их материальное благосостояние, занимаясь культурной работой, русские кооператоры, главным образом выходцы из левых партий, укрепляли здоровые творческие демократические настроения в широких трудовых слоях населения. Росту кооперативов помогал огромный подъём общего благосостояния трудового населения. Этот подъём проявлялся в росте потребления предметов первой необходимости (сахар, масло, керосин, обувь, платье и т.д.). Он очень наглядно выразился в росте народных сбережений. В государственных сберегательных кассах, по свидетельству советского экономиста проф. Лященко, в 1906 году вкладов было на 831,2 миллиона золотых рублей, а перед самой войной (на 1 июля 1914 года) в этих кассах лежало 1704,2 миллиона золотых рублей.

Бесспорно, этот период – перед первой мировой войной – был расцветом русского народного хозяйства».

«Я хочу, — пишет Керенский — чтобы было понятно, наконец, что в кратчайший срок – две «пятилетки» – политической свободы в России можно было достигнуть огромных хозяйственных результатов, не возвращая население для этого к крепостному труду, не лишая его политических прав, не обрекая страну на голодное и нищенское существование».

\*\*\* «По исчислениям одного из лучших знатоков хозяйственного развития России проф. Прокоповича, народный доход России, несмотря на японскую войну и сопровождавшую её до 1909 года депрессию, вырос (в 50 губерниях Европейской России, к которым относится подсчёт) на 79,4 процента, общий оборот внешней торговли, по данным А. Базили, в 1906 году равнялся 1896 миллионов золотых рублей, а в 1913 – 2913 миллионов золотых рублей. Длина железнодорожной сети с 52,5 тысяч вёрст в 1905 году выросла к 1915 году до 64,5 тысяч верст. Доходность железных дорог в 1908 году была 169 миллионов золотых рублей, в 1912 – 449 миллионов. Согласно исследованиям того же экономиста, проф. Лященко, в хлопчатобумажной промышленности число веретён увеличилось в одну треть (с 101,9 млн золотых рублей в 1910 до 136, 6 млн в 1912-м)».

«Ограничиваясь этими несколькими примерами, приведу ещё только общее заключение о развитии русской промышленности в конституционную «пятилетку» перед войной (1914), к которому пришли партийные коммунистические экономисты, — пишет Керен-



ский — я цитирую «Очерки по истории Октябрьской революции», опубликованные в Москве «Испартом» (1921). Валовая продукция за период 1900–1905 годов возросла на 44%, а к 1913 году она увеличилась на 219%. В техническом отношении промышленность в целом значительно усилилась и модернизировалась. Было вложено 537 миллионов золотых рублей в замену промышленного оборудования за 1910–1912 годы. В ходе этого благоприятного периода увеличения основного капитала нашей промышленности шло в три раза быстрее, чем в Америке. Россия стала одной из самых передовых стран в мире по концентрации производства: концентрация производства в России была значительно больше, чем, например, в Америке. Производительность русской индустрии за 1908, 1911, 1916 годы составила 1,5, 5,5, и 8,5 миллиардов рублей золотом, соответственно».

\*\*\* Керенский делает вывод: «...На основании моих собственных впечатлений о России для меня стало очевидным, что особые пути политического и социального развития России – не фантастика великих русских писателей, не утопия славянофилов, а потом народников, а исторический факт».

Александр Никитич откинулся на спинку. Он сидел неподвижно, прислушиваясь к себе. На мгновение, ему показалось, он испытал ощущение восторга и ужаса одновременно. Будто он разгадал секрет русского счастья, с невероятной абсурдностью переродившегося в русскую трагедию. «Счастье и несчастье приравнять не каждый народ может...»

Тот, кто понял (знал), что октябрьский переворот 1917 года – это предательский удар в спину России, давно сгинули. Сгинули и те, кто способен был показать русским масштаб этой трагедии...

## Глава 17. Беда

Эта весть «о повышении», как гром средь ясного неба, с грохотом прокатилась по школе. Хотя слухи о переводе Ярыгина в район возникли не на пустом месте. В прошлом году на ежегодной конференции учителей в Иркутске к нему перед началом подошёл начальник отдела народного образования и предложил место в Пединституте. Тогда Александр Никитич отказался. Потом, конечно, сомневался – прикидывал все «за» и «против». Но вскоре успокоился, решив, что поступил разумно. «Куда я без Лены, без тайги? Зачем мне эта суета? Не хочу!» — рассудил он. Правда, Наталье Петровне словом не обмолвился. И так по швам в семейной жизни, не хватало о предложении начальника заикнуться. И всё – можно смело в землянку переселяться. Заест Наталья. Молчанием со света сживёт.

А тут такое. В понедельник директор школы, Татьяна Ивановна, пригласила к себе в кабинет и со слезами на глазах объявила: «Дорогой мой, Александр Никитич, я представить себе не могла, что Вы когда-нибудь покинете нас... Сиротами остаёмся по вашей милости!». И самым натуральным образом сначала захлопала носом, а потом, уронив голову на руки, зарыдала по-правдашнему, по-бабьи, с жалостливыми причитаниями.

— О чём они там только думают в городах своих? Нам без Вас, дорогой вы наш, крышка! Давайте я вас на свою должность порекомендую, а? Серьёзно! Давайте, а? Да и любим мы Вас все – от мала до велика. Особенно я... исстрадалась за столько-то лет...

Ярыгин опешил. «Вот так номер: «исстрадалась» она! Что-то я не очень верю в это дело, сомневаюсь даже. Расцеловать её, что ли, на прощание? А почему на прощание?»

— Татьяна Ивановна, а в чём дело-то? Куда вы меня провожаете?

— Так перевод же вот на ваше имя! «Откомандировать на новое место работы Ярыгина Александра Никитича». И дальше: «на

должность директора школы № 6... в город Киренск». Пропади он пропадом, перевод этот.

— Понятно. Что ж, надо ехать, коль зовут. Не переживайте, Татьяна Ивановна, на моё место молодого пришлют. Зачем я вам такой: ворчун невнимательный – без глаз, без рук, без романтики в голове? Если что, вернусь, обещаю. Примите?

Кое-как успокоил директрису. В конце они даже обнялись и (кому сказать) расцеловались. Ярыгин улыбнулся и на прощание заметил:

— Если бы каждый день начинался с поцелуев и заканчивался объятиями, то меня никакими шанежками... ни в какой Киренск...

Они ещё поговорили, попили чаю... «поплакали», повздыхали и, в конце концов, распрощались...

По дороге домой Ярыгину вспомнился 1953 год, смерть Сталина и те мысли и страхи... Будто от ружейного залпа вздрогнула страна. Все замерли, прислушались; пригляделись к себе, близким, соседям... Вроде мимо на этот раз. Не перезаряжают ли? Не будут ли добивать «подранков»? Раньше-то добивали...

«Худо-бедно, но мы привыкли к железной сталинской хватке. Придушил нас Коба: не захочешь, привыкнешь, — усмехнулся Ярыгин. — Привыкли погибать на фронтах, в мирное время, «подранками» в лагерях. Привыкли восстанавливать народное хозяйство, строить «светлое будущее». Где-то там, глубоко в душе, мы сопротивлялись (или нам казалось), но здесь, «наверху», мы в едином порыве рванули вперёд, чтобы побыстрее проскочить жуткое, привычное. Забыть прошлое, навсегда порвать с ним – не на время, навсегда! Невозможно постоянно в страхе... Мы сплотились вокруг нашего вождя. Волевого, жестокого, мудрого... не всегда разумного... Старались быть вместе, на виду. Вместе не так страшно, вместе мы сила... К нам не просто придраться – мы на виду, мы не «нерадивые». Всем миром на собрания, заседания, конференции, митинги...

На целину? Пожалуйста! В Комсомольск? Уже! На БАМ? В первых рядах! Хотя к черту на рога, лишь бы подальше... с глаз долой...

И вот не стало вождя – «отца народов». Кто на его место? Неужели снова перезаряжать и по «подранкам»? Ну уж нет! Не получится – опоздали! Мы так напитались обидой: её в нас через край. Так что, если снова в казематы... Не обессудь, матушка-Россия: вразнос всем миром пойдём, до конца... до «вольницы». Сталин был последним самодержцем. Он не признавал коллективного управления, презирал соратников, не доверял никому. Управлял империей единовластно: жёстко, жестоко... и неожиданно победоносно!

Как выстоять без его твёрдой руки? Без оков на руках, ногах? Без петли на шее? Дверь в «темницу» распахнулась, а «узники» даже не пошевелились. Обездвижили. Не осталось тех, кто мог летать. Одни разучились, другие отказались вовсе, «новых» не учили...

Народ замер в тревожном ожидании: «Не может быть, чтобы не поднялся. Не верим! Обязательно встанет и сметёт всех неблагонадёжных. Их и так не осталось – «неблагонадёжных». Вокруг одни «надёжные»: чугунные, каменные, плакатные... ожившие, осатаневшие».

Ярыгин передёрнул плечами: «Будя, Санёк, поживём куда. Не на погост, в жизнь путёвку выписали. Поживём. Пацаны повырастали, дочурки вот-вот на крыло встанут. Жизнь под горку нацелилась? Но да ничего, есть ещё порох в пороховницах. Ишь как хитро с нами обошлись: не успели оглянуться, уму-разуму набраться – обратно в дорогу... эх-хо-хо!..»

После многолетних мытарств по таёжным деревушкам, Ярыгины возвращались в Киренск.

Собирались не спеша, основательно, с радостным волнением, предвкушая долгожданные перемены к лучшему. Семейные пожитки упаковали в узлы, коробки и в два фанерных чемодана, обтянутых коричневым дерматином. Заветный сундучок Александр Никитич погрузил на катер, туда же разместили младших из ребятишек, усадив рядом на широкой скамейке, рядом с кубриком, под присмотром Натальи Петровны. Ярыгину, в знак особого уважения за его фронтовые заслуги, выделили большую лодку (барку). Лодку на длинном тросе буксировал небольшой, но проворный катерок, приписанный к районной больнице. Движок после «капиталки», весело урча, особо не напрягаясь, тащил лодку. На корме на старинный манер красной краской чётко по трафарету было выведено: «ЧибисЪ». «Скорая помощь на воде» – так окрестили катер местные жители.

Данный вид транспорта был востребован повсеместно, и зачастую добраться до нуждающихся в медицинской помощи людей было под силу только ему, бело-красному «Чибису» с пионерским стягом на мачте. Капитан в выцветшей гимнастёрке, на груди из-под которой выглядывала тельняшка, стоял за штурвалом и глубокомысленно курил короткую трубку. На вид лет сорока от роду, по всему виду, фронтовик, не болливый – курил и грустил о чём-то... знакомом. Эта грусть на века поселилась в сердцах русских людей. Стоит чуть повнимательней взглянуть в наши глаза, и вы её обнаружите, непременно. Ей не спрятаться под маской безудержного веселья. Печаль от преждевременных потерь окончательно от-

резвила наши души. Мы стали догадываться, что осталось совсем немного времени для жизни в безверии. Это понимание пришло так естественно и бесповоротно, что отрицать его решится только «ненормальный». Но и говорить об этом вслух значило бы пополнить ряды «преждевременных», а молчать – ряды «ненормальных»...

...Плыли уже больше часа. Любовались тайгой, рекой, небом, просторами родного края. Смеялись, грызли домашнее печенье, запивая парным коровьим молоком из стеклянных бутылок, откупоривая и снова затыкая тонкие горлышки газетными пробками. У всех без исключения от предвкушения долгожданной новизны было беспокойно на душе. Каждый по-своему мечтал о чём-то своём, заветном, а вместе – об одном и том же: «Всё изменится к лучшему... обязательно к лучшему. Не может быть, чтобы не изменилось...»

...Александр Никитич точно помнил, что накануне, ночью и утром, было тревожно на сердце – не по себе с того самого момента, как стали собираться в дорогу.

— В чём дело, Санёк? — спрашивал он себя. — Неужто предчувствие? Не беды ли какой?

— Откуда ей взяться – беде? Не война, поди, не революция, не на каторгу гонят, в конце концов. Делов-то: сто вёрст по речке тихим ходом. Погода как на заказ: солнышко греет, птички поют, красотища кругом... Всё хорошо... всё хорошо...

Не помогала логика, не отпускала тревога.

— Может, отложить переезд на недельку? — засомневался он. — А что изменится за неделю? Холодней только станет, дожди вот-вот разойдутся. Нет, надо ехать, — решил и вроде успокоился.

Наше предчувствие! Как преступно редко мы прислушиваемся к своему внутреннему голосу. И наш ли это голос? Не предки ли предупреждают об опасности? Не Ангел ли наш Хранитель пытается удержать от опрометчивого шага?

...Неожиданно, будто в фантастическом фильме, из-за поворота реки появилась «Ракета». Она не плыла – летела над водой. Вокруг ни души. Тихое дикое место: ни деревень, ни дорог, ни пристаней, ни рыбаков, ни пастухов – никого. И нет у капитана «Ракеты» никакой, даже мало-мальской, причины погасить скорость. Гигантский монстр на подводных крыльях, похожий на инопланетное чудовище, летел навстречу, готовый проглотить всех, кто попадётся у него на пути: и «Чибиса» с фронтовиком-капитаном, и казённую лодку с людьми и нехитрым скарбом в том числе. «Ракета» пронеслась метрах в двадцати от барки.

Почему капитан «Ракеты» не замедлил ход? Этот вопрос так и останется без ответа. Видать, шёл строго по расписанию и ему было

наплевать на незнакомых людишек по правому борту. Капитан сделал вид, что никаких людишек и в помине не было...

Вода вздыбилась и нарастающим валом устремилась в сторону лодки. Вал рос и на глазах превращался из забавного холмика в бурлящую кратером гору. Лодка оказалась на самой вершине в тот момент, когда катер пулей летел вниз по склону «горы». Трос натянулся в струну и скрылся под водой. Барку развернуло боком к течению и от следующего тяжёлого толчка водяной стены опрокинуло на бок. Натяжение троса на мгновение ослабло, но уже в следующий миг катер так дёрнул лодку, что все повывлетали за борт. Дальше всё происходило как в замедленном кино. Торчащие из воды головы, крики детей, жены, тёщи... и свой крик... Удаляющийся силуэт «монстра», захлестнувший разум ужас, дикий страх за детей... безумное желание убить «Ракету». И крик о помощи в небеса: «Господи, помоги!»

Всё это фиксировалось в голове у Ярыгина помимо его желания, автоматически: не мгновенно, медленно, отпечаталось навсегда.

«Дети умеют плавать, Наташа тоже, о «Байкале» не стоит печалиться. Неважно плавают тёща...»

Катер уже развернулся; капитан опомнился: отцепил трос и потихоньку собирал детей, осторожно затягивал по одному на борт. Александр Никитич поддерживал то одного, то другого из пацанов на плаву. В плечо ткнулся Байкал, его тоже подняли на борт. Когда все оказались на палубе, только тогда заметили, что среди спасённых нет Сусанны Андриановны. Развернули катер и помчались вниз по течению, всматриваясь в каждую корягу, щепку, кусок коры, «умоляя тёщу продержаться». Ярыгин вслух и шёпотом, просил Сусанну «не делать этого»...

Позже, когда он снова и снова будет прокручивать в памяти события того ужасного дня, он уверится, что видел Сусанну до того момента, как она скрылась под водой. Вроде она бережно вложила в руки Наташе незнакомое мальчика и улыбнулась ему. Улыбнулась – и скрылась под водой. Удивительным образом спаслись все! Все, кроме тёщи...

— Неужели по своей воле? Решила, что так будет правильной? Только для кого «правильней»?

— Нет, не может быть, чтобы сама, добровольно. Это нечестно! Выбилась из сил – другое дело. А я не успел на выручку, детей надо было спасать, не до взрослых, не до самих себя... Отговорки!

— Какая разница? Её нет... никогда не будет... Это нечестно, Соня!

Какое это горе – безвозвратно потерять родного человека... единственного, который тебя слышал, понимал, любил... Тёща была самым близким. Столько переговорено... недоговорено... столько горя...

— Почему в моей жизни одни потери? Что со мной не так? Неужели в какой-то момент я свернул не туда? Постучался не в ту дверь, не к тем людям? Очутился не там и не с теми? Смогу ли вернуться к «своим» хотя бы в конце?

— О чем ты, Санёк? Не надейся. В твоей жизни всё уже было! Не надейся.

Собеседник у Ярыгина был тот ещё собеседник... тяжёлый собеседник.

...Пожитки ушли на дно. Мокрые, перепуганные, придавленные страхом смерти добрались Ярыгины до Киренска.

«Господь не успел спасти Сусанну... Почему? Ведь Ему под силу и не такие чудеса», — Александр Никитич выл от горя. Сердце рыдало, оно не желало смириться с потерей друга, преданной женщины. Сердце любило ... сердцем. Потерять – равносильно окаменеть. Так и случилось: оно окаменело. Александр Никитич перестал улыбаться. Нет, он улыбался, но это было не по-настоящему. Он придумал подходящую маску и носил её, не снимая...

## Глава 18. Испытание

«Душа Сусанны, песчинка в водовороте бесконечного, устремившись за грань необозримого, вдруг растерялась. В первый миг своего преображения она не поняла, что с ней произошло сразу после смерти и кто подхватил её тогда, над водой. Но узнала голос Великого Духа, спросившего её:

— Останешься попрощаться? Или со мной?

— Останусь... ненадолго... Можно? — ответила она и успокоилась.

— У тебя всегда так: «ненадолго» и «долго» одной длины мера. Помни: есть дела поважней. Ты, душа моя, нужна мне здесь. Все неприкаянные ждут не дождутся помощи от тебя. Скорей вспоминай себя... «прежнюю, бесстрастную». Позабудь всё, что было там: в мелком человеческом воплощении. Ты выдержала испытание, ты в самом начале... Принимайся за свои прямые обязанности. Необходимо укрепить тех, кому предстоит снова возвращаться. Даю тебе отпуск, — усмехнулся: — «по семейным обстоятельствам», сама решишь, когда «пора», но не затягивай. Я с тобой от радости на земной манер заговорил, соскучился. Русские! С вами ухо надо ох как остро держать. От вашей русскости во всех мирах переполох стоит, не уляжется.

Из глубины пространства, которому не было конца, эхом поднимался запредельный хохот. Необозримое, всепроникающее, приходящее из ниоткуда, уходящее в никуда, подхватило сбившиеся в кучку, сиротливо жавшиеся друг к другу земные души и исчезло во тьме. На прощание невзначай, будто волчок на столе, раскрутив звёзды на незнакомом небосводе.

Земные души, с беспокойством озираясь по сторонам, неслись за горизонты, тщетно пытаясь вспомнить, о чём, прощаясь с ними, умоляло помнить их перепуганное тело...»

Потеря матери, тёщи, бабушки для семьи оказалось и тяжёлым испытанием, и откровением для каждого из её членов. Смерть близкого человека изменила окружающий мир до неузна-



ваемости. Перед внуками он впервые предстал безжалостно откровенным, непредсказуемым, пугающе неубедительным... Дети испугались: «О каких «чудесах» может идти речь, если любой поворот может оказаться таким же, как этот, – последним?» Бабушка для каждого из них находила или держала про запас «золотой ключик» от потайной двери в свой тихий, светлый мир: мир добродетели, чести и любви. Дети были уверены, что после всех испытаний, которые уготованы им судьбой, они непременно попадут именно туда – в добрый бабушкин мир...

Бабушка не могла просто так взять и исчезнуть, не оставив никакой подсказки или хотя бы записки. Она же обещала помочь нам повзрослеть, обещала всегда быть рядом. Значит, придёт... она где-то здесь, поблизости. Баба, ты где? Отзовись!... Во сне Сусанна Андриановна приходила: одних успокаивала, другим что-то объясняла, кого-то поучала. Она так увлеклась присутствием не «там», что чуть не забыла о том, что её «нет». Сейчас у неё на всё хватало времени; время стало некуда девать.

Постепенно малыши свыклись с печальной «новизной» в их жизни. «Бабе хорошо, – успокаивали они друг друга, – ей никуда не надо спешить, она совсем не устаёт, помолодела, чаще улыбается, на ней нарядный сарафан, а вокруг яблоневый сад. Она выходит к нам из сада. Если вырастим такими же добрыми, как наша бабушка, то потом когда-нибудь тоже окажемся в цветущем саду, вместе с ней», – мечтали внуки.

После смерти Сусанны Андриановны изменилась и Наталья. Она будто проснулась от долгого летаргического сна. Наталья вдруг поняла, отчего ей так легко дышалось при маме, поняла только сейчас, когда мамы не стало. Мама взвалила и безропотно несла на своих плечах вину за смерть Наташиного сына, Серёжи, защитив тем самым дочь от саморазрушения.

«А ведь я хотела уйти за сыном. Мама сумела уговорить меня считать виноватой в гибели внука её», – вспоминала то время Наталья. Она мучилась оттого, что не успела осознать глубину маминого поступка и не успела отблагодарить мать за то, что мама была необыкновенной мамой. Сусанна Андриановна полностью посвятила свою жизнь дочери, внукам, зятю, искренне растворившись в любви, преданности, заботах о них.

С недавнего времени деньги перестали играть в жизни Натальи главенствующую роль. Свет полился в душу: осветил, согрел, оживил её. В сердце зазвучала музыка, сами собой стали складываться песни. Глаза заблестели, походка, движения стали плавными, упругими; она вся подобралась, расцвела, будто приготовилась

к новому счастью. Она ясно ощутила, как сильно любит Ярыгина. «Кому сказать: влюбилась в собственного мужа!»

Сергей (её первый) после стольких лет незримого, мучительно-го присутствия в их жизни «испарился». Столько лет не давал покоя: цеплялся за каждый день, за каждую ночь. Являлся в самый неподходящий момент, когда два сердца готовы были слиться воедино. Живя за тысячи вёрст на своём Тихом океане, был третьим лишним здесь – между Натальей и Александром, мешал жить. А тут раз – и исчез!.. Наташа с некоторых пор на своего Ярыгина налюбоваться не могла, так влюбилась, что самой страшно сделалось. «А мужик-то у меня на загляденье!» – довольная шептала Наталья. Но одна «закавыка» не давала покоя: её характер! Нет чтобы в открытую, до глубины души, объясниться и снять все вопросы, разом исключить недомолвки, начать с чистого листа... вместе радоваться каждому прожитому дню, в согласии и любви до последнего вздоха.

Но характер! Бестия, а не характер. Сама себе путь преградила. Надумала на свою голову испытать мужа, вот только не решила окончательно: как?..

Письмо от Ольги какой уж год хранилось в её саквояже. «На всякий случай». Объясниться бы – и в огонь... да просто: в огонь – и точка! Она же наперекор себе: холила и лелеяла посеревший листочек, читала и перечитывала. Картины рисовала: одну трагичней другой. Предвкушала. Столько лет из жиденького листочка зверя выращивала, будто волкодава на мужа натаскивала. Зачем?

Наталья достала потёртый конверт, вынула и развернула обветшалый тетрадный листок. Прочла: «Никогда не думала, что ты женишься на обыкновенной женщине, Санечка». Прислушалась к себе. Не дрогнуло, не шевельнулось внутри, усмехнулась только: «Не тебе судить, тётя! «Обыкновенная»? Ошибаешься: необыкновенная я, самая что ни есть необыкновенная и единственная для моего Санечки. Запомни: мо-е-го!» Наталья поняла, что письмо с годами потеряло всякую ценность и привлекательность. «Мы с моим Санечкой шестерых ангелочков на свет божий выпустили, а ты: «обыкновенная»? И не мечтай! Узнаю что – найду, из-под земли достану... ночью лунной на тропке узкой».

Небрежно бросив письмо, она сначала откинулась на спинку стула, потом рухнула на руки и зарыдала. Наташа редко плакала, но сегодня как прорвало. Со слезами будто прозрение приходило. Она вдруг увидела себя со стороны: красивой, молодой, замужней, не обманутой. «Что тебе ещё надо, Натаха? Всё у тебя есть! Люди завидуют твоему счастью. Уймись, наконец. Воспитывай детей, мужика люби – и будет тебе счастье!» Она вскинула голову и остановила

взгляд на лице Божьей матери. «Я только проверю его. Испытаю – и успокоюсь. Умоляю, не суди меня».

Александр Никитич с удивлением обнаружил, что с Сусанной они стали видаться даже чаще, чем прежде. «Оказывается, после смерти жизнь становится намного осмысленней, правдивей, она становится бесценной!»

«Романтические отношения» развивались так бурно, что было невозможно разобрать, кто к кому навещался в гости. Ярыгин так свыкся с присутствием тещи в своей жизни, что вполне естественно обижался, если Сусанна не являлась к нему по первому зову.

— Санечка, не сходи с ума, — увещевала его Сусанна. — Меня давно нет среди людей. Вместо меня «я» другая – твой ангел-хранитель. Я «есть» в новом воплощении, но меня «нет» в вашем, земном представлении. Пойми, наконец, что тебе надо идти дальше и пройти свой путь без меня. А путь твой не прост. Крепко запомни: я всегда буду неподалёку!

...Со временем Александр Никитич успокоился. Выручал сундучок, река, дети, школа, жизнь среди людей и его любимая теща – ангел-хранитель по имени Сусанна...

## Глава 19. Обратный отсчёт

За окном скорого «Москва–Владивосток» проплывала, сменяя пейзаж за пейзажем, дорогая сердцу Сибирь. Ярыгин сидел у окна, облокотившись на столик, подперев голову ладонью. В купе мягкого вагона он расположился в гордом одиночестве – без попутчиков – «как барин». В Иркутске дети настояли выкупить купе полностью. Дорога, мол, дальняя, попадёт какой-нибудь алкаш-пустобрёх в соседь – с греха с ним пропадёшь.

Сыновья понимали, что у отца приближался «момент истины»: пришло время подвести итог своей жизни, подвести итог и мобилизовать силы на последнем рубеже. Пройти его без остановок на сомнения, не оглядываясь на пустое: «а может, вернуться и сначала»? Это непросто: в конце и итог...

Мысли текли сами собой: забегали вперёд, возвращались, кружили на месте, будто мотыльки на свету; рассыпались бисером, исчезали, появлялись вновь... снова забегали вперёд. Свои, знакомые, вперемешку с чужими, неизвестными. И лица тоже: свои, чужие, красивые, страшные сливались в одно лицо. Оно растягивалось, расплывалось, рвалось на бесцветные лоскутки, превращаясь в серые тени.

Ярыгин чувствовал: внутри что-то сдвинулось с места, будто сорвалось с родовых креплений. Это «что-то» накренилось, потеряло устойчивость. «Неужели это «что-то» – тот самый стержень?» Душа, почуяв слабость, заметалась из стороны в сторону, пытаясь найти новую опору – твёрдую, последнюю, не бессмысленную. Миры прижались так тесно, что, порезавшись острыми краями, глубоко заглянули друг в друга. Александр Никитич вдруг увидел себя по обе стороны кривых миров, одновременно. Мысли-птицы сцепились когтистыми лапами и замерли, внимательно вглядываясь в себя. Неожиданно наступило прозрение, но оно было таким мимолётным, что только слегка колыхнуло интуицию, а мысли, опомнившись, оторвались друг от друга и умчались прочь. Знакомые вернулись и потекли

мимо, за окном, мутным неспешным потоком, то тут, то там вспыхивая вещими зарницами.

Вот зарница из детства: давнишние мысли Санька-пацана. А вот мысли и голоса родителей. Эти принадлежат Лизоньке... его детской любви. Воскресла из глубины давняя обида за предательство. Увидел себя в оранжевых штанах, на скорую руку скроенных из маминой кофты. Вокруг толпится ребяшня: тычут в него пальцами, дразнят; рычат и кусают облезлые собаки. А он, несчастный сирота, сбитый с ног детворой, корчится в канаве. Над ним его Лиза, она тоже смеется. В ушах эхом ехидный голос соседа: «Не повезло тебе, сопляк. Не лез бы Никита из кожи – не валялся б ты в канаве в срамных штанах. Тьфу, смотреть тошно...»

«Когда это было? Сколько лет минуло? Зачем я помню?»

А вот он юноша. И снова мысли: «Почему с ним, а не с кем другим? Почему так, а не иначе? Должен же быть в этом какой-то смысл?»

«А эти мысли наши: мои и Оли. Нас разлучили в самом начале. Кто посмел? Власть? И только потому, что мы беззаветно любили Россию? Разве это честно по отношению к нам? К своему народу? Кто «ты» такой, чтобы ломать судьбы миллионов... в самом начале? Ты не помазанник Божий – нет, – «ты» самозванец!..»

Вспомнил себя командиром пулемётного взвода. Тот роковой день: ранение, гибель товарищей; ощущение себя не «здесь», а вместе с ними по ту сторону... Не было страха, не было удивления. Наоборот, никакого желания расставаться, возвращаться назад. Тогда он точно знал, что умер. Шёл к санбату ослепшим, оглохшим, сам себе незнакомым. А «там» он впервые увидел себя другим: легким, светлым, понятным. Он перестал замечать грохот боя, а гримасы смерти превратились в приветливые улыбки. Он шёл по зелёному лугу, сочная трава ласкала босые ноги, солнце припекало лицо, руки, спину. Стояла светлая тишина. Из розовых кустов доносились трели райских птиц, а с неба лилась волшебная мелодия родного жаворонка. На пригорке родители, а рядом, обнявшись за плечи, в полном составе его пулемётный взвод. Он спешил к ним. Это было так важно: стоять со своим взводом, обнявшись за плечи в одном строю. Ничего дороже тех объятий для него не существовало ни тогда, ни сейчас. Те люди были самыми дорогими в его жизни, дороже их не может быть. А его назад, на исходный рубеж. Одинокого, убитого подо Ржевом, потерявшего себя внутри самого себя.

«Зачем вернули?» Неужели лишь для того, чтобы мучать вопросами, ответы на которые он подглядел «там», за границей миров... Он что-то понял тогда, но не сумел удержать в раненой голове. Отве-

ты нашлись позже, само собой не все. Он продолжал искать и для себя кое-что понял. Осталось последнее: проститься с Олей, провести полчан и напоследок постоять на Красной площади. Что-то обязательно прояснится... такое, с чем можно будет спокойно пройти остаток пути...

Душа Ярыгина трепетала от предвкушения будущих встреч, жадно втягивая время и пространство, стремясь сжать и побыстрее проскочить «лишний» отрезок пути, до Тамбова. Душа спешила. «Ты ещё со мной, душа моя?» – интересовался Санёк, предчувствуя скорую разлуку.

Вспомнилась Натальяна «выходка» трёхлетней давности. Жестокий, ненужный поступок. В 1964 году родилась Машенька. Ярыгин души в ней не чаял. Думал всё: вопрос об их с женой отношениях закрыт окончательно и бесповоротно. Такая радость на сердце! Тогда и решил: никаких претензий к жене. Да чего там: влюбился в свою Наталью, как по молодости. С чистого листа семейную жизнь писать собрался, но не тут-то было...

Наталья Петровна – роковая женщина. Звериной красоты амазонка, вылитая цыганка. Её движения до безумия страстны и сильны. Любое, казалось бы, простое движение она умудрялась зафиксировать на доли секунды так, что воображение успевало насладиться невероятным и возопить от «жажды». Её пластика была верхом женского колдовства. Ярыгин терял голову каждый раз, как только она этого хотела. «Моя жена – ведьма!» – рычал он, почуяв запах её тела поблизости.

...А Наталья Петровна, как выяснилось, тот «фокус» и задумала, чтобы побольней ударить его. Не ударила – наповал сразила! «Чёрт в юбке, а не баба!» Ведь своими глазами видела, что он Машутку из рук не выпускал. Рыбалку забросил, к сундучку от случая к случаю подходить стал. Вся его жизнь вокруг Машеньки закружилась. «А она, ненормальная, что удумала?..»

Вернулся как-то Александр Никитич из командировки, с семинара учительского. Гостинцев полны руки накупил: отрез крепдешина на платье жене; сатина цветного на сарафан; в школу всякой всячины; фруктов припёр аж две сетки. Виноград Наталья шибко любила... и любит...

Дверь в избу распахнул – и обомлел с порога: «хоть шаром покати», пуста хата. Воры! Первое, что пришло на ум. Ни шкафа, ни этажерки, ни кровати, ни стола, ни стула; иконостас и тот спёрли, ироды. Как Наталье сообщить? Не перенесёт такую весть хозяйка. Столько лет добро копила: платочек к платочку, рушник к рушнику подбирала, занавеска к занавеске, чтоб не хуже людей. «Не ровён

час, приключится обморок с женой, а хуже того – удар на нервной почве...» — растерялся Ярыгин.

Потом огляделся по сторонам, кое-как успокоился и сам себе думает: «Что-то воры, растудить твою тудить, больно аккуратно орудовали. Не спешили, по всему виду, и даже венчиком на прощание по крашеным половицам прошлись. Заныло сердечко, почуяв недоброе. А немного погодя Клара явилась, дочка меньшая. Так, мол, и так, папочка, ушла от нас мамочка. Меня с собой звала, но я отказалась. В деревню свою уехала, в Карам. На прощанье так и сказала: «Только там я была счастлива, туда, значит, и надо возвращаться...»

Застонал Ярыгин от удара предательского, от обиды завыл и боли. Снова тьма опустилась на землю: ослепла душа, задрожало сердце... Пулемётный взвод на пригорке померещился. К товарищам, комкая жизнь, рванул напрямки. Да так, что пуговицы с рубахи по полу поскакали.

Вышел на крыльцо, опустился на ступеньки и застыл, будто умер. Перед глазами вся жизнь проплыла... и в стенку уперлась.

Сколько так сидел? Очнулся, когда на дворе стемнело. Ту ночь переночевали у Дуняши, у сестрёнки. Племянница, Кларочка, в невесту выросла: красивая, умная и такая же душевная, как в детстве. Обе Клары: дочь и племянница, несмотря на разницу в возрасте, крепко дружили. Кстати, дочку Кларой в честь племянницы и назвали. Характеры у обеих больно схожие, вот на этой почве и сошлись. Не разлей вода подружки.

На завтра Александр Никитич напил чурок и приспособил их вместо табуреток, соорудил столешницу и тоже на чурку приладил.

Сестра с зятем привезли кровати и постель на первое время, сыновья кое-чем помогли. Потихоньку обустроили жилище и стали жить-поживать на пару с доченькой – директор школы (под шестьдесят) и его тринадцатилетняя дочка. Кларе повезло больше всех потому, что она любила своего папку сильнее всех на свете. Даже хозяйством обзавелись кой-каким: кроликов, кур и гусей растили, для души в основном. Петух, собака, кошка – это члены семьи, они не в счёт.

Через три года, дождавшись, когда Клара поступит в пединститут, и посоветовавшись с сыновьями, Ярыгин продал дом. Поделит деньги между детьми, купил билет до Тамбова и покинул родные края.

— С какой целью?

— Настала пора разобраться во всём и до конца...

— О завтрашнем дне?

— Никаких мыслей о дне грядущем и в помине. На прощание в глаза заглянуть родными глазами. Пусть приговор, пусть суровый, но без этого не пересилить себя, не уговорить: не «рвануть» раньше срока к боевым товарищам. Так что ни о каких планах и в помине. Билет в один конец. Что-то в этом роде.

За окном Сибирь. «Вернусь ли? Не будем загадывать... там видно будет. Эх, жизнь!..»



## Глава 20. Скорый Москва – Владивосток

Скорый Москва – Владивосток, не замечая однообразия полей и лесов, нёс Ярыгина в самое сердце России. Маленькие домишки за окном поражали своим уютом и заброшенностью, в необозримости простора угадывалось молчание первозданного величия. Внутри всё будто застыло. Ярыгин смотрел в окно, но видел себя не здесь: перед внутренним взором раскинулась Лена, с родными деревушками и знакомым погостом на берегу. Там обитала его душа, она не хотела разлуки, там жили его дети. Сколько же он воспитал их и благословил на счастливую жизнь? Много. Они все его, родные, они и он – одна семья. Александр Никитич до сих пор каждого помнил по имени. Но самое удивительное: он видел свою Наталью. Прошло три года...

В первые дни после ухода Натальи Ярыгин, конечно, реагировал на происходящее вокруг, но с недоумением и почти автоматически, а для того чтобы не умереть с горя, старался представить все её «недостатки»: мол, и это у неё не так, и то не очень получалось, и другое кое-как... А спустя пару недель все её «недостатки» самым загадочным образом превратились в достоинства. «Что за чертовщина! — возмущался Александр Никитич. — Не ровён час, колдует моя Наталья. Ну ты погляди на неё: и тут из меня верёвки вьет!» Мучился – да чего там – страдал самым натуральным образом, потому, наверное, и придумал эту поездку в «одну сторону». Оба оказались с характером: никто не желал уступать первым...

А что же Наталья Петровна? И она, бедная, тоже исстрадалась. «Испытала муженька, дура! Думала, приедет через день-другой: уговаривать, на коленях умолять станет. А он, чалдон окаянный, туда же... Кремень, мой Санечка. Кремень!» — загордилась своим мужем Наталья. Перепугалась, чего уж там, душа в пятки переселилась...

Когда узнала, что он избу собрался продавать, совсем расстроилась. Переговорила с братьями, посоветовалась с роднёй, чтобы «шито-крыто» и не навредить. Решили отстоять, сохранить дом, только виду не подавать, чтоб отношения не усугубить. Дом-то всей семьёй возводили, каждое брёвнышко молитвой обласкано, каждый венец потом полит. Изба казалась живым существом, её дух уводил сердце в родное – в тепло и покой с ароматом свежеспечённого хлеба. Родовое гнездо для любви, не для разлуки, задумывалось. К нему чужих подпускать – последнее дело. Выкупила Наталья дом, братья помогли. Подослали своего покупателя: и всё как по маслу прошло, не подкопаешься. «Сохранила дом, ещё бы Санечку вернуть». Поклялась: «Землю грызть буду, но верну мужа...»

...Богато живут братья. Наталья позавидовала вначале, а после загрустила. У них одна заботушка: как бы капиталы приумножить. Деньги, деньги, деньги... тошно стало от пустоты.

«То ли дело мой! У него поиск Истины на первом месте. А я, ненормальная, на это первое место позарилась. Эх, Наташка, что же ты натворила на свою голову! Эх-хо... На горло себе наступлю, но верну родненького. Без него я, как рыба без воды, задыхаюсь. Ох и люб он мне... ох и люб...»

Наталья Петровна содержимое сундучка тоже «прощудировала» в своё время. Не всё поняла, не всё помнила, но главное крепко засело: без веры пуст человек! Ни для Бога, ни для чёрта интереса не представляет. Есть он или нет его? Был когда или не был? Мало кто вспомнит, и тот скоро забудет. На похоронах у такого «гулянка», вспомнить-то нечего...

Надоумила Наталья братьев новую часовенку возвести в родной деревне. Место присмотрела на берегу повыше. Что удивительно – подхватились братья. Младший аж в Иркутск скатался – батюшку пригласил совет держать. Тот чертежи захватил, чтобы по всем правилам, а не абы как. За лето отстроили. Осветили. Иконы со всей округи народ нёс: старинные, настоящие, от истоков испившие, светлыми людьми намоленные. И такой мир воцарился в деревне, какого и не помнил никто: крестины, свадьбы, отпевания... службу воскресную наладили. Казаки с лихими соседями примирились, сватов друг к дружке засылать давай. Легче жить стало людям, светлее. Вот тебе и сундучок! Через столько лет службу сослужил.

...Ночью Ярыгин проснулся от грохота и качки. Казалось, еще самую малость – и железо одолеет железо: вагоны соскользнут с рельс и со скрежетом, корёжа друг друга, полетят в чёрную пропасть. В ночи особенно остро ощущалось многотонное напряжение трущейся стали. Состав мчался с дикой скоростью. Было ощущение, что скорый из всех сил пытается оторваться от преследования.

Александр Никитич глянул в окно, в темень. За окном, изрыгая огненные вихри, круша землю стальными копытами, вровень с вагоном мчалось «неведомое». Оно скалило клыки, а пристально изучающий, холодный, проникающий взгляд леденил душу. От него исходил только взгляд... глаз не было видно.

«Догонит или проскочим?» — мелькнуло в голове, он отвернулся.

— Ну, ты точно того, Санёк, коль чертей по ночам гонять взялся. Отсыпайся лучше, ещё неизвестно, как тебя встретят. Может, на вокзале придётся коротать.

— А я и не претендую на тёплый приём. Мне бы одним глазком... ну, парой слов перекинуться, а там и на вокзал можно. Не с предложением еду, скорее наоборот: от ворот поворот получить. Повидаться. С меня и этого за глаза.

Состав замедлил ход, стал плавно втекать в выросший посреди тайги мерцающий огнями город. Вскоре остановился. Ярыгин привстал с дивана, раздвинул занавески и внимательно взгляделся в освещённые окна вокзала. Вид старинного здания навевал грусть. «Так это ж Красноярск! – дошло до него после того, как несколько раз перечитал отливающие зеленью буквы на фронтоне вокзала. – Вот мы и встретились...»

Напившись чаю из гранёного стакана в алюминиевом подстаканнике, Ярыгин снял с полки саквояж и извлёк объёмистую тетрадь в кожаном переплёте собственной работы. Это была уже его рукопись. Он мечтал, что когда-нибудь «Историю России» будет читать по своему конспекту. Когда-нибудь...

Содержимое тётчиного сундучка было самым скрупулёзным образом изучено, осмыслено, перепроверено и тщательно законспектировано. Рукопись со временем пополнялась новыми записями. Ярыгин решил: ни в коем случае не останавливаться; продолжать, насколько хватит сил, дело, ставшее смыслом его жизни. «Не заставят в темноте жить – дураком умереть не заставят...»

«Что же происходило с православием на протяжении всей истории России? Не оставалось ли оно в стороне от судеб многострельного русского народа? Как влияло на ход истории? Как удалось спастись самим и сохранить веру?» Вопросы, которые не давали покоя Ярыгину с тех пор, как в его руки попал сундучок с рукописями (и с тех пор, как повстречался с епископом Лукой).

Его интересовали три исторических периода России, три падения в «бездну», из которой по всем признакам ей не суждено было выбраться. Но она, вопреки всем пророчествам, вновь и вновь возрождалась, как птица феникс из пепла.

Александр Никитич раскрыл тетрадь на отмеченной закладкой странице. Красным было подчеркнуто:

*\*\*\*«Первая катастрофа России при монголах. Это был Великий разгром. Сгорели города, погибла вековая культура, поля превратились в пустыню, население, обезумев от страха, бежало куда глаза глядят. Монголы сожгли Владимир, Суздаль, Москву, Тверь, не доходя до Новгорода и Пскова. В 1240 году сгорает почти без остатка Киев, «мать городов русских».*

В начале XV века только самые отдалённые глухие места не были под чьим-нибудь игом. Новгород, Псков не видели у себя татар, но платили им дань. Приднестровье было захвачено литовцами, потом литовцами вместе с поляками. Чёрное море было под турками. Дальше на Волге до Казани сидели монголы и татары. В Заволжье и на Каме до Урала бродили воинствующие финские племена. Драться со всеми значило погибнуть. Надо было выбирать, как восстановить свою независимость между татарским игом и враждебной, наседавшей с запада «Европой».

...Инстинкт самосохранения подсказал русскому политическому сознанию такую политику Москвы, которая со временем выработалась в мудрую государственную политику национального возрождения и спасения. А именно: преодоление внутренних междоусобий, временный мир с Золотой Ордой и вооружённая борьба на западной границе.

...Результат: в 1238–1240 годах монголы установили свою власть, растоптав Россию. В 1380 году по-монгольски организованные московские войска (150 тыс.) князя Дмитрия Донского на голову разбили втрое превосходящие их численность полчища ордынского царя Мамай (500 тыс.).

...Оторвавшись на время от имперских, вселенских традиций Византии, русская церковь отдалась вся национальной культуре и национальному творчеству. В городах и в княжеских столицах представители церкви вели неустанную борьбу за прекращение княжеской анархии, за восстановление государственного единства «всего христианского народа».

...Два первых русских митрополита – Пётр и Алексей с гениальной интуицией предвидели будущую историческую роль Москвы. Пётр в самом начале XIV века фактически перенёс свою кафедру главы церкви из главного города Владимира в незначительную тогда ещё Москву. И Алексей, человек с огромными государственными способностями, всю свою деятельность отдал на превращение Москвы в государственный и национальный центр России.

Это он, будучи долгие годы фактическим регентом Московского великого княжества в малолетство Дмитрия Донского, передал ему в руки сильное сочувствием народа государство. Сам он не дожил двух лет до апофеоза его служения России – до битвы на Куликовом поле. Но ближайший друг его, величайший русский святой Сергей Радонежский, благословил русские рати на их жертвенный подвиг освобождения Отечества!»

Александр Никитич раскрыл тетрадь на второй закладке, где тоже красным было подчеркнуто:

\*\*\*«Вторая катастрофа России.

...Менее чем за 100 лет после Куликовской битвы (1380) Россия уже была единым национальным государством. Все княжества и «вольные города» – Новгород, Псков – добровольно слились с Москвой или были ею сломлены. На востоке начинается колонизация Сибири. На юге с боями и страшными потерями продвижение к Кавказу и Чёрному морю. Сама Золотая Орда быстро распадается на ряд отдельных ханств: Казанское, Ногайское, Крымское, Астраханское. На западе продолжается не прекращающаяся десятилетиями борьба со Швецией, Литвой и Польшей за исконные русские земли, оторванные за время монгольского паралича.

...Внутри страны Иван Грозный твёрдо решил отнять монополию на управление государством у княжеской «олигархии», которая образовалась в Москве после поглощения Московским царством мелких областных княжеских владений.

...Но после смерти Анастасии, жены Ивана Грозного (1560), начинается страшное нравственное падение царя. Смерть жены, предательство ближайшего окружения, саботаж реформ царя в правительственных кругах, тревожные нелепые слухи об измене (дважды горит Москва)... Царь не выдерживает и срывается. Так, в 1565 году начинается «русский террор» Грозного...

...В конце своего царствования, опомнившись, Иван уже понимал, что страна его «дошла до крайнего истощения и пришла в запустение».

...14 лет после смерти Ивана Грозного (1584) государством фактически управлял исключительно одарённый брат жены царя Борис Годунов.

...В апреле 1605 года Борис умер, сына его убили. В июне «предполагаемый» сын Грозного стал царём. Дело, нужное боярам, было сделано. Меньше чем через год, Лжедмитрий был убит в Кремлёвском дворце городской чернью, а на трон взошёл «боярский царь» – князь Василий Шуйский.

...Но Варшава не собиралась отказываться от Москвы. По согласию с частью московской знати поляки двинулись в пределы России. Восемь лет (1605–1613) атакуемая извне и раздираемая внутри разбушевавшейся стихией политических и социальных страстей Россия, казалось, действительно погибла.

...Бояре, враждебные царю Василию Шуйскому, поехали во главе с Фёдором Романовым к королю Сигизмунду Польскому, который тогда осаждал Смоленск. Они пригласили на московский трон его сына с условием, чтобы он принял православие и правил страной на основании определённых пунктов, которым он должен присягнуть.

...10 сентября инициатор всего этого плана польский гетман Жолкевич занял Москву именем Владислава. Но у короля-отца разгорелся аппетит. Он захотел сам стать московским царём, оставаясь польским королем и, конечно, не желая и думать об «измене ка-толичеству». Но королевская непримиримость раскрыла, наконец, тогдашним русским патриотам глаза.

...На Рождество 1610 года Московский патриарх Гермоген стал рассылать по всей стране воззвания о национальном объединении, о забвении всех социальных и политических распрей во имя спасения Родины.

*Как и 200 с лишним лет назад при конце монгольского ига, церковь ещё раз сыграла среди общего разложения и морального распада роль духовного национального центра.*

*Спасение пришло из глубины России, от простых русских (средних) людей. В Нижнем Новгороде, на Волге, именитый купец Кузьма Минин своими речами и призывами разбудил, всколыхнул всё Приволжье. Население собственными силами и средствами собрало добровольцев, пригласило в вожди князя Пожарского, опытного военачальника из Москвы. В августе 1612 года ополчение с Волги подошло к столице и осадило засевших в Кремле поляков. Тут, под стенами Москвы, народное ополчение с Волги слилось с казачьими отрядами с Дона, уже ранее находившимися здесь. 22 октября Кремль был взят штурмом, 7 февраля 1613 года Земский Собор после долгих колебаний выбрал на царство первого представителя новой династии – двоюродного брата по матери последнего царя из дома Рюрика, 16-летнего мальчика Михаила Романова.*

*...Так закончилась вторая катастрофа. Начался третий взлёт России. Он продолжался почти ровно 300 лет до первой мировой войны 1914–1918 годов. От вторжения монголов до второй катастрофы прошло тоже три столетия. И после каждого падения Россия снова встаёт, но совсем другая – в новых формах и другом образе».*

*Александр Никитич оторвался от чтения, допил остывший чай и долго, невидяще всматривался в бесконечную, грозную пустоту...*

*«Откуда в нас эта способность к сопротивлению? Побеждать, когда гибель уже предreshена? Воистину: умом Россию не понять... В то же время, какое это счастье ощущать себя русским...»*

## Глава 21. Жизненный круг

Ярыгину снился сон. Будто он, Сусанна Андриановна и Наталья идут по зелёному лугу, усеянному ромашками и маками, от волнения ковыля чуть кружится голова. Идут, взявшись за руки: Сусанна посередине, он и Наталья по бокам. На душе легко, они молоды и в самом начале... И предчувствие, что вот-вот должно произойти что-то важное, оно уже происходит. Они влюблены и понимают, что это навсегда. «Но только ему одному известно будущее», – уверен Ярыгин. Сейчас он признается им в любви и сделает предложение обеим. Он понимает, что это сон, в глубине которого плавное движение и странная неподвижность – «во сне возможно и не такое» – он готов рискнуть, готов на всё, ради спасения Сусанны. И Наталью потерять он тоже не хочет.

«Пусть решают, вместе решим, как нам быть дальше. Тяжко мне без них, ох и тяжело. Пусть хоть во сне... И сон ли это? А может быть, сон – это отражение «нас... вне нас самих» – откуда-то оттуда, с невидимой стороны? Голова идёт кругом от догадок. Если открыто признаюсь, то Сусанне и тонуть не придётся. Во сне всё по-другому. Дай, Бог, не ошибиться хотя бы тут, в нашем отражении...»

Вдруг он почувствовал, что держит за руку только Наталью. «Где же Сусанна? – заметался Ярыгин. – Как она умудрилась отнять руку?» Огляделся по сторонам и разглядел тещу на пригорке по пояс в волнах ковыля. «Будто на течении остановилась, не унесло бы...»

Сусанна красивая, светлая, казалась умиротворённой, по всему видать – за судьбу дочери и зятя. Это не произносилось вслух, но было так очевидно. Мысли удивительным образом перекликались с мыслями. Александр Никитич посмотрел на Наталью и понял: теща добилась своего – они с женой растворились друг в друге, раство-



рились в детях, в разлуке, в невозможности порознь, в надежде... ибо и надежда не всегда бывает последней.

«Меня нет среди вас... я не здесь... мы ещё увидимся... в конце», – шелестели обрывки фраз из улетающего сна. Ярыгин проснулся: «Ишь как тебя: вне... нас самих!..»

И все же сон давал какую-никакую надежду в бессмысленности его сомнений, его поиска своей, скрытой от мира, правды. Содержимое сундучка, осмысление прочитанного, наводило на мысль, что истинная судьба России связана с чем-то тайным, постижимым. Подозрения усиливались по мере того, как он встречал вокруг тихих, неприметных людей, будто те забрели сюда из неведомых эпох. Это были и староверы, творящие молитву в глухих уголках вечной тайги; и монахи, уцелевшие в лихие времена; и блаженные старцы, живущие святым духом; и простые люди с непростыми судьбами; и чистые душой бродяги – любимцы земли русской. «Не они ли – эти «тихие», «неприметные», «уединившиеся» – и есть истинные хранители православной веры? А их судьбы и судьба России неразлучны и надёжно защищены Богом?..» Ярыгин всё больше поражался своим мыслям. «Такое чувство, что кто-то сжалился надо мной и потихоньку мои приземлённые мысли заполняет «своим», духовным содержанием...»

...Два месяца пролетели как один день, путешествие приближалось к концу. Всё, в конце концов, обрело свой смысл. Не было особых потрясений ни от встреч, ни от расставаний. С каждым днём нарастала тоска от разлуки с детьми и горшая – от разлуки с Натальей. «На что я надеюсь? Три года минуло – поди, забыла меня», – переживал Ярыгин. Разрыв с женой вернул из далёкого прошлого ощущение одиночества и неприкаянности. Зато он освободился от груза вины. На душе покой перемешался с тревогой. Непривычно. Но только так и можно было описать его внутреннее состояние. Взглянуть в глаза судьбе? Смелая идея, если не сказать безумная. Иллюзии улетучились сами собой. Будто туман рассеялся, а на небосводе закружился хоровод оживших звёзд. Ни луны, ни солнца: звёзды над головой и звенящая тишина в далёком эхе приближающейся грозы. Против стихий миров мы дети: отсюда тревога, отсюда и покой...

Встреча с Ольгой чего стоила, её бы одной за глаза хватило. Дом Александр Никитич с горем пополам, но отыскал на окраине

Тамбова. Смотрелся трехэтажный дом не очень, хотя был крепок на вид, правда какой-то обшарпанный: в пятнах прошлогодней штукатурки, порог вровень с землёй, дверь в подъезд распахнута настежь. Сталинских времён постройка. Дом будто заблудился, отстал, навсегда затерялся в пятидесятых. Звонок врос в косяк, еле выглядывал из-под толстого слоя краски. Ярыгин прицелился и аккуратно ткнул пальцем в кнопку. Из-за двери послышалось серебряное дребезжание. Он замер. Ключ, как затвор в карабине, смачно клацнул, дверь приоткрылась наполовину. В проёме возникла миловидная женщина. Короткая стрижка, поблёклое интеллигентное лицо, бесцветные застывшие глаза.. Спокойная, безразличная, она смотрела в глаза, но было такое ощущение, что взгляд её, как выстрел в упор, прошивал насквозь. Ярыгин опешил. «Вроде и говорить не о чем... всё и так стало ясно, без слов», — заныло в затылке.

— Какая радость! Александр Никитич собственной персоной! Рискуете без приглашения. Такая дорога... Не ближний свет, чтобы в нашем интересном возрасте да в такие авантюры... Затраты опять же. Что потеряли в наших краях? С чем пожаловали?

— Да вот, решился... — поперхнулся Ярыгин.

— Ну, коль скоро вы у моего порога, проходите на кухню. У меня и самовар готов. С дороги травяной чаёк с медком – первое дело!

Немного успокоившись, Александр Никитич присмотрелся к Ольге. Оля будто выгорела изнутри. Ничего не осталось от той смелой, весёлой девчушки. «Государственная машина» катком прокатилась по её судьбе. Иссякли силы, втоптаны в пыль мечты, не осталось духу сопротивляться судьбе.

— А сын? — прохрипел Ярыгин.

— Сын не твой... в этом можете не сомневаться. Он за границей у родственников, в Канаде. Надеюсь, не вернётся... А Вы приехали (она так и не выбрала между «ты» и «вы»), чтобы утвердиться в правильности своего выбора? Уверяю вас, вы правильно поступили, что выбрали Наталью Петровну. Со мной столько мороки. «Враги народа» – это приговор на пожизненный срок...

Попили чаю, поговорили о «пустяках», украдкой разглядывая друг друга. В конце Оля как бы между прочим заметила:

— Тьма освободила нас от тоски, потому что во тьме нет ничего...даже тоски... Помнишь? «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем...» Головешки на пепелище, зола да пепел – всё пра-

хом... Тут у нас я много страданий вижу и много людей появляется удивительно чистых, живых, открытых. Они не поддались, сохранили душу. У многих, где-то в глубине, в тайных уголках души зреет новая Россия. Я вижу её...

Посидели молча. «А ведь она смелее меня... и дальше... Это хорошо!»

— А теперь давайте прощаться, дорогой Вы наш. Вам пора. Вас ждут.

Простившись с Олей, Ярыгин, не медля, вернулся на вокзал. Его накрыла такая пустота... Смятение тисками сдавило грудь... Он чуть было не купил билет до Иркутска. Потом спохватился: впереди ждал Ржев...

А Оля, заперев дверь, опустилась на пол, не в силах двинуться с места. «Молодец! Хоть Санечку уберегла от мук сердечных. Вижу: извёлся, золотой мой, не забыл, мучается, сомневается. Глупый. Наше с нами и остаётся – оно в прошлом живее всех живых. Не потеряется, ещё догонит: ни в этой, так в другой жизни с ним встретимся. И сынок наш – вылитый отец! Александр Александрович Ярыгин тоже не потеряется. С такой фамилией ему все пути-дороги открыты. В отца пошёл: по тайге пятый год себя ищет. Я ему, перед тем как уйти, откроюсь. Потом, позже, не сегодня. И Санечке тоже откроюсь в конце. Слава Богу, обошлось! Артистка ты, Оля! Пусть хоть он успокоится, я за всех нас настрадаюсь. Какой же он у меня красивый!..»

...Подо Ржевом Александр Никитич с трудом, но отыскал поле, окоп и даже пулемётное гнездо, заросшее полынью, клевером, ромашками и васильками. Сидя на бруствере, он задумался и на мгновение очутился в том роковом дне, из 43-го. Вот он раскрывает отцовский портсигар, и знакомые руки тянутся за папиросами. Взрыв! – и они летят в чёрную дыру, проглотившую и день, и пулемётный взвод, и землю, и небо. Выжил один он – старший лейтенант Ярыгин, убитый подо Ржевом в 43-м и каким-то чудом воскресший... Земля вокруг успела зарости редким леском и островками колючего шиповника. Окопы укрылись мягким ковром из трав и цветов. Земля выздоравливала: она с трудом возвращалась к жизни, тщательно маскируя глубокие раны-свидетельства безумной отваги ушедших поколений.

...На Красной площади жизненный круг замкнулся. Здесь, в сердце России, Ярыгин с новой силой ощутил себя русским. «Пора домой! – решил он. – Пора на Лену!»

В Москве он встретился со Степаном (одесситом). Вспоминали госпиталь, переговоры о многом: о жизни, о вере, а больше о священнике-хирурге Луке. Удивительную жизнь прожил епископ Лука, удивительным образом возвращается к людям: исцеляет безнадежно больных, помогает нуждающимся, молится за нас.

«Абсурдность безверия не поддается здравому смыслу. Прислушайтесь к своему сердцу – и вы услышите ЕГО голос. Молитесь! Ваша молитва не останется без ответа». Это напутствие Луки (из 43-го) Степан, прощаясь, напомнил Ярыгину.

От себя добавил: «И Бог, и дьявол любят себя. Значит, и любовь бывает разная. Многое зависит от того, какой ты на самом деле, что именно в себе любишь. Ведь известны истории, по сравнению с которыми и путешествие в ад покажется увлекательной прогулкой...» Они простились, чтобы помнить...

Скорый Москва – Владивосток приближался к Иркутску...

## Глава 22. Встречи – расставания

Иркутск встретил утренней прохладой, свежим дыханием близкой тайги. Ангара, спросонья рухнув с высоченной плотины, отчаянно заметалась, бурля и пенясь, швыряя в небо разноцветные радуги. Поняв, что путь назад отрезан окончательно и бесповоротно, растерялась, но не смирилась. Путь к Байкалу преградил железобетонный монстр, «вскормленный» человеком с одной целью: в клочья разодрать прекрасное тело гордой реки. Протухшие от канализационных стоков мёртвые воды городского «пруда» с жадностью набросились сосать живительные соки из разрубленной пополам реки.

«Неужели конец? — взмолилась Ангара. — Прощай, отец мой, батюшка Байкал!» От её стога стынёт кровь, птицы камнем срываются с небес и дрожат от обиды звёзды. Байкал, задыхаясь от гнева, еле сдерживает рвущийся из середины земли грозный рык. «Не сегодня, — рычит он. — Может, одумаются люди? Хотя вряд ли». И легонько налегает на стену плотины, пробуя на крепость нелепую махину. «Слабовата конструкция: мне на раз... вмиг смету...»

Рыбаки в чёрных лодках, предвкушая ранний клёв на стонущей воде, замерли на прикормленных местах в ожидании рыбацкого счастья.

Через пару часов хариуса, ленка, шуку и даже тайменя можно будет по сходной цене купить у причала: на городской набережной или в районе «маратовского» кольца.

...После возвращения из поездки по «местам боевой славы» Ярыгин успокоился. Он ощутил, что медленно наступает освобождение, что даже сердце бьётся по-иному и груз, невидимый и невесомый, сходит с него.

В Иркутске его встречали всем семейством: Наталья Петровна, дети и даже внуки, попискивая от нетерпения, вели себя смиренно, ожидая получить московские подарки от любимого дедушки.

Жена стояла чуть в стороне, ждала... и тоже переживала. Александр Никитич ступил на перрон и первым делом направился в её сторону.

— Ну, здравствуй, счастье моё! — заикаясь от нахлынувших чувств, прошептал он.

— Нагулялся? Пора и меру знать... — в тон ему шёпотом ответила Наталья.

— Выходи за меня! — обратился он к жене и достал из-под плаща, лежащего горкой на саквояже, огромный букет из георгинов, астр, пионов и ещё каких-то ярких цветов, купленный час тому назад у двух бабулек в городе Усолье во время короткой стоянки.

Наталья, смущённо махнув рукой на предложение мужа, неожиданно прослезилась. Слёзы несмело выглянули из уголков глаз, помедлив и накопив сердечной влаги, полились весёлыми ручейками по смуглым, вспыхнувшим девичьим румянцем, щёчкам.

— Не увиливай, Наталья! Я так понимаю: да?

— Да, да... чалдон мой окаянный. Нет мне без тебя покоя. Впредь без меня ни шагу из дома! Хватит, накатался...

Ярыгин бережно обнял жену и нежно расцеловал ее колдовские, цыганские очи.

— Красавица ты моя! Я и сам... — крикнул и насупил брови, — под замком держать буду, а ключ на шее... на цепи... — и снова крикнул, заикаясь. А слеза тут как тут: спешила навстречу Натальиным слезам...

Потом обнимались все. Семья воссоединилась! Ещё один жизненный круг замкнулся. «Храни нас Бог!»

...Младший сын выстроил дом по соседству с родительским. Поэтому дед и баба принимали самое активное участие в воспитании четверых внуков: бабуля — с пелёнок, дед ... — с топотушек.

Оставшуюся половину жизни Александр Никитич и Наталья Петровна заботились друг о друге особенно трепетно. Машенька, младшая дочка, нарадоваться не могла на своих «взрослых» родителей, а те спешили «вылюбить» всю свою любовь без остатка. И это им удалось в полной мере. Они и сейчас, на городском погосте, лежат рядышком: в пол-оборота друг к другу. Могилки уютно распо-

ложились под высоченными соснами, с рясным кустом рябины в головах. Правда, как вы догадались, сами они не здесь... Сусанна терпеливо поджидала их на том зелёном лугу, а встретившись, они крепко взялись за руки и ушли в неведомые дали. Сусанна посредине, Александр и Наталья по обе стороны от неё. Когда-нибудь они вернуться на Землю и непременно в свою Россию...

...Однажды вечером в ворота усадьбы постучали. Александр Никитич распахнул калитку и остоленел – будто в зеркало посмотрелся. На улице, переминаясь с ноги на ногу, поджидал знакомого обличия мужчины: точь-в-точь Ярыгин в молодые годы. «Санёк приехал... Мой Санёк!» — не сказал — застонал от радости отец. Они обнялись; долго стояли молча, давясь скупой мужской слезой. Потом вместе вошли в дом. Наталья тепло встретила «младшего Санечку»; она была поистине счастлива, что последний жизненный круг замкнулся...

...Умер Александр Никитич в 1995 году, 11 июля, в день чествования иконы Божьей Матери «Троеручицы». Уходил умиротворённым, в здравом уме и ясной памяти, с осознанием неотвратимости ухода в иное, с неукротимым желанием шагнуть и раствориться в нём; познать неведомое, отразиться от глубины и, возможно, вернуться к своим, конечно в Россию...

...Пятью годами раньше ушла Наталья Петровна. «Побоялась остаться в одиночестве и поспешила обогнать...»

С утра, в день похорон, на Ярыгина навалилась такая тоска... Но в тот момент, когда он склонился над женой для прощального поцелуя, вдруг заметил (так и было), что Наталья приоткрыла глаза и улыбнулась. Александр Никитич обрадовался, не удержался и поцеловал Наталью в губы. Губы жены были живые и тёплые. Он улыбнулся: «Ты, как всегда, без фокусов не можешь. И тут меня обдурила. Не уходи далеко, родная. Я скоро...» Тоска испарилась, сердце успокоилось в ожидании скорой встречи. «Вот и кончилась моя жизнь, — грустно усмехнулся Ярыгин, — вот и всё!..»

## Эпилог

Клара Александровна, дочь Александра Никитича, вышла из кабинета врача и чуть было не потеряла сознание. Опустилась на диван и забылась. Диагноз неутешительный: «онкология». В пятьдесят пять... и такое... Спустя какое-то время, не замечая людей, она ослепшая брела, не понимая куда. Остановилась потому, что на пути выросли ступени. Вскинула голову: ступеньки убегали вверх к храму. Перекрестившись, Клара, еле переставляя ноги, начала свое восхождение ...Неведомая сила тянула назад, давила на плечи, печалью смущая разум. Но она упорно шла вперед, в гору. Переступила порог церкви – и глыба, обрывая кожу, свалилась с плеч. В храме шла служба. Клара грудью ощутила приближение лёгкой, увлекающей вдаль новизны, будто ей открывался когда-то утерянный, но такой знакомый прежде путь. Хор голосов звучал сверху... хотя клирос находился справа от алтаря – в углублении, за перилами.

Тиски разжимались, дышалось свободней, наконец, отпустило... а через секунду слёзы двумя ручейками побежали по щекам. Их потоки смывали и уносили прочь из памяти накопившиеся обиды, переживания, какие-то ставшие в одночасье смешными проблемы. Становилось легче на душе.

«Как же хочется жить!» – вырвалось из груди. Монашка, стоящая неподалёку внимательно наблюдала за ней. После окончания службы она приблизилась к Кларе, взяла под руку и увлекла за собой. Остановившись возле кануна, она вложила три свечи в руку Клары и посоветовала поставить за упокой родных людей.

Потом они разговорились. Клара, слово за словом, не понимая ещё зачем, открылась монашке. Монашка обняла её за плечи, постаралась успокоить, потом подвела к иконе святителя Луки и посоветовала:



— Молись, милая! Проси помощи у святителя. По молитве придет исцеление... обязательно! Ты верь! А лучше бы съездить тебе в Крым, в Симферополь, и там встретиться с ним с глазу на глаз – помолиться мощам святителя. Отложи все дела и поезжай. Кто знает: а может, он другого пути к душе твоей не видит? Иди навстречу... там видно будет. Обязательно поможет, коль так испытывает...

На улице ей стало совсем легко и светло.

...В Симферополь Клара Александровна не попала. Она очень горевала по этому поводу. Но в Керчи, в составе группы туристов, самым чудесным образом оказалась в Храме святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. На памятной плите она прочла: «В этом храме крестился святитель Лука». Клара припала к камню и разрыдалась. «Мы встретились. Ты указал мне путь к себе...»

...Через три месяца, на повторном осмотре, врач долго вертел снимки, перечитывал записи в медицинской книжке, вздыхал и кряхтел. Потом внимательно поглядел на Клару и развёл руками:

— Что вы себе позволяете, уважаемая? Этого не может быть, в конце концов! Стоило мне отвернуться – и вы разрешаете себе выздороветь. Безобразие, честное слово! – Было не понять: он серьёзно или шутит. – Здорова! Идите и не морочьте мне голову. Хотя нет! Сядьте и подробненько изложите на бумаге секрет вашего исцеления!..

...А годом позже из Киренска приехал племянник, Юрка, с таким же диагнозом: «онкология». Маша, Мария Александровна, младшая сестра Клары Александровны, посоветовала Юрке:

— Святитель Лука помог нашему папе, твоему деду, тётке Кларе. Будешь молиться, Бог даст, и тебе поможет. Молись, Юрка!

Она принесла племяннику на дачу (он попросился жить на даче) молитвенник и икону святителя Луки. Юрка две недели молил святителя о помощи. Не будучи крещёным, шагающим по жизни, как душа велит, весёлый, беззаботный, за неделю изменился до неузнаваемости.

Врач, рассматривая контрольный снимок лёгкого, обескураженно развёл руками:

— У тебя, молодой человек, перелома рёбер не было, случайно? Юрка замотал головой:

— Не припомню, доктор. Глаз брату выколол в детстве, ненароком. Это было. А вот чтобы рёбра ломать, хоть убей, не припомню.

— Идите с Богом, молодой человек. Если бы года два тому назад мне такое привиделось, я бы, может, и засомневался, а сейчас не получится. Была у меня такая история, но это не важно. Здоровы. Поздравляю. С Богом!

На следующий день Юрка крестился. Клара и Маша были рядом. Они не могли нарадоваться на фулигана племяша. В Киренске – ни родственники, ни соседи – не могли признать в Юрке недавнего «грозу садов и огородов». Вскоре Юрка женился и очень даже успешно обзавёлся двумя сыновьями. Жена не нарадуется на путевого мужика – мужа.

...Святитель частенько заглядывает в Сибирь. Здесь, за колючкой большевистских застенок, он прошёл суровые испытания. Поэтому всеми силами стремится помочь людям, добровольно выбравшим Сибирь – людям, которые плечом к плечу с ним шли на встречу с Богом...

...Что-то происходит вокруг. Мы чувствуем это. Кто-то потихоньку прибирает наши души в свои руки. Этот «кто-то» не совсем наш, скорее совсем не наш. Так что надо быть готовыми к переменам. Зреет что-то... зреет. Возможно, это и есть спасение нас от самих нас, уставших от себя... забытых всеми...

«Всё будет хорошо», — повторяла Россия самой себе, слушая шёпот своего глубинного, подземного течения, которое нарастало вопреки всему, что происходило на поверхности, ожидая своего часа, чтобы выйти наружу.

# Рассказы





## Генка

Сосна в обхват толщиной, острой вершиной проткнувшая чёрную тучу, дрогнула могучим телом и с протяжным стоном обрушилась на Генкину голову. Снег из зияющей дыры, как из преисподней, жирными хлопьями повалил на землю, ослепляя всё живое вокруг; спеша поскорее спрятать остатки реликтовой тайги от обезумевших людей.

Случилось это аккурат 12 декабря, в 12 часов дня. Спил не Генка, спилил пацан, Васька, которому только и доверяли: сучки рубить да костёр шурудить. Но Васятка старался вовсю: мечтал попасть в бригаду и на равных со взрослыми зарабатывать «большие» деньги. Таки деньжищи – и мимо! Тут кто хошь покоя лишится. Вальщиков раз, два и обчёлся, а его в костровые? До слёз пацану обидно. Он и с пилой, и с топором за милую душу – не хуже любого «бывалого» управляется.

В деревне ни работы, ни «калыма» путного, ни каких тебе перспектив на нормальную «трезвую» жизнь. Одна отдушина у деревенских: лес воровать да тайком китайцам продавать. Звериными тропами продираются лесовозы к китайской «приёмке». По ночам, на рассвете, в непогоду, в жару и лютую стужу; в Новый год, Старый год, на Восьмое марта и другие «красные» денёчки. В календарь, куда ни ткни, в красное не промахнёшься. Когда у гаишников пересянок или закемарят государевы люди в тихом закутке, у обочины, тут как тут от разведки «отмашка» в виде СМС-сообщения: «Направление такое-то, гоните что есть духу. Мы на стрёме, подстрахуем!».

И гонят деревенские, гонят свои лесовозы под завязку: выше коников, до самых облаков... За бесценок тайгу родимую: на блюдечке с голубой каёмочкой братьям ненасытным китайцам. Кормятся деревенские крохами с «барского» стола – выживают кое-как: с горем пополам...

А тут работа подвернулась вроде легальная. И предприниматель из «блатных», и глаз не прячет: тут же, среди мужиков, крутится. И «порубочный билет» у него в порядке, и техника на любой вкус, и гаишники не цепляются. А самое главное: третий месяц зарплату – день в день! Редкость в наше время.

Вот Васятка и взбеленился, решил: «Кровь из носа, а на «Ниву» заработаю! Не на новую, а на ту, что у дяди Коли в гараже третий год пылится. Сосед – инвалид, машину не водит. «Нива» ему от свёкра

досталась. Отдыхает зеленоглазая, мается без дела. Хорошо хоть в гараже, а так бы сгнила давно. И приценились, и условия обговорили: мол, если какая нужда у дяди Коли, то Васёк по первому зову на выручку... «Почему нет? Святое дело – помочь хорошему человеку. Тем более инвалиду».

Подгадал Васятка ближе к обеду, тут и пила освободилась, хотел мастерством своим перед бригадой похвастать. Да всё комом пошло. Ногами не твёрдо упёрся – раз; снег надо было путём утоптать – два; да распахать пошире – три! Вот и напортачил: скосил запилом, вроде совсем маленько, да в таком деле любая мелочь – не мелочь! Провернулся комель по кривому спилу и повалилось дерево Ваське на горбушку. Сам-то отскочил кое-как, а вот дядю Гену не успел предупредить: насмерть пришиб...

«Ох ты, Боже мой! Беда-то какая... Беда! У дяди Гены трое ребятишек... Хоть пулю в лоб. Как Николке в глаза глядеть? Ему 15 – друзья с малолетства – разница в два года и не заметна меж ними. Крепкий парняга уродился, надёжный, смелый. Дашутке – 12, Юльке – 11! За Дашутку свататься грозился, если из армии дождётся. Как людям в глаза? Как жить после? Зачем?..»

Пацан стоял по пояс в снегу и выл... Он перебирал варианты: «Застрелюсь! Меньше мороки». Где-то слышал, надо разуться и упереться в спусковой крючок большим пальцем ноги... руками за стволы... В рот? В лоб? В грудь? «Мыыыы...» — выл Васька, прощаясь с жизнью, с Колькой, с «Нивой», с Дашуткой – со всем белым светом.

Гену доставали осторожно. Пришлось спилить сук, пробивший наискось лобную кость и застрявший в Генкиной черепушке. Осмотрели рану и молча, всей бригадой, закурили. «Не жилец! — читалось по глазам. — Труба мужику...»

Погрузили Генку в крутой хозяйский джип, и тот, что есть духу, помчал в больницу спасать лесоруба.

Сучок на 10 сантиметров залез в Генкин череп, пять позвонков вдребезги, остальное мелочь. Руки, ноги, рёбра, ушибы, сотрясения – ерунда по сравнению с 10 сантиметрами и пятью позвонками.

Операцию делали в Иркутске. Худые позвонки заменили на титановые, сук из головы вытянули, с трудом (вроде крюк страховочный из скалы). Хирург – любитель по горам лазать – такое сравнение придумал. Потом подумал, прикинул так и эдак и «замуровал» дырку во лбу пластиной из того же титана.

«Семена, поди, оставили, не ровён час прорастёт сосёнка из Генкиной башки, как пить дать прорастёт», — шутили мужики в палате – такие же калеки в подвешенном к потолку состоянии. Частники в основном. Кто их технике безопасности обучал? Кто инструктировал? Всё у них на свой страх и риск. Вот и висят бедолаги за компанию с Генкой, шутят кого-то, сопли на кулак мотают, уму разуму набираются, другие опытом обмениваются. А насчёт ходить, говорить, выздоравливать – большие сомнения у докторов на Генкин счёт...

Выписали Гену ближе к осени. Полгода на вытяжке, на досках, под капельницей, в бреду. Катерина, жена Генкина, забрала мужа домой. Пятнадцать годков душа в душу: ни скандалов, ни упрёков. У соседей от зависти эмаль на зубах треснула.

Первое время Катерина шибко старалась: крутилась вокруг мужа, из ложечки кормила, горшок никому не доверяла – всё сама. А через три месяца запила с горя – не выдержала баба! Да так, что всем тошно стало. Без протрезвления. Всё забросила: работу, детей, хозяйство, Генку – всё! Да ладно бы только пила... Кто из нас через это дело не потратился? Она же по полной отреклась: давай путаться с чужими мужиками – со всеми подряд. В угаре... в беспмятстве... всё прахом!

А как-то по зиме привела в дом знакомого, из которого Генка в молодые годы одним ударом в челюсть дух вышиб (за Катерину и вышиб). Всю ночь напролёт пили, а на соседней кровати занимались «непотребным». На расстоянии вытянутой руки сопел, кряхтел Генкин кошмар. К утру цыганские Генкины кудри в пепел: ни одного чёрного волоска не осталось, белый как лунь рассвет встречал.

Той ночью памятью родителей поклялся: «Выздоровею, чего бы мне это ни стоило! Сдохну, но выздоровею!»

В следующий раз, тоже по зиме, в самый мороз, оставила Катерина мужа в нетопленной избе. Рядом банку солёных огурцов поставила и ушла гулеванить. На три дня потерялась. Детей к тому времени, как Генке поседеть, забрали в приют. Хорошо, соседи не-ладное заподозрили: открыли дом, а там Генка полёживат, на колоду похожий, помереть не осмелится. Ещё малость – и очоурился бы. Стужа на дворе, печка инеем покрылась...

...Эту историю мне Тома пересказала, моя давняя знакомая. Гена её племянником оказался. А бежать сломя голову, спасать людей – это вторая Томина натура.

— Забрала я Генку, Михалыч, к себе перевезла! Поздно узнала, а так бы давно у меня гостевал. Кого только ни приглашала для консультаций разных. Наказы внимательно слушала, подробненько записывала, по порядку. Всё исполняем как полагаютца: и массаж научилась делать, и упражнения на любой манер, и витамины американские из спортивного питания. А сёдня вечером крапивой буду парить племяша...

— Тома, а как ты его – того – на руках переносишь, что ли?

Тома улыбнулась, помедлила и настезь распахнула калитку во двор. В ограде я увидел седого мужика. На вид крепко скроенного, колдовавшего над стареньким мотоциклом «Урал».

— Дотошный! Любит, чтоб всё чин чинарём. Раскатывают по округе, спасу нет. Тайга! Ни гаишников, ни милиции – благодать для инвалида, приволье! К сыну в Железнодорожник смотался, дочек с Байкала ждёт не дожждётся. Прихрамывают, постанывают, но спуску себе не даёт. Теперь и сама вижу: поправляется племяш, выздоравливает. Слава тебе, Господи! На ВТЭКе первую группу сняли. С ума они там посходили, что ли?! Что за порядки? Ладно бы новый позвоночник вырос или голову запасную выдали. Так нет же, всё барахло при нём осталось: в башке дырка, в спине железо позвякивает, говорит припеваючи и память того – подводит частенько, не всегда срабатывает к месту. А по большому счёту, Михалыч, мужичонка хоть куда! В церковь зачастил: с Богом у них на «ты». Меня просит перед сном о вере потолковать, а я каждый вечер – веришь, нет? – без задних ног: до подушки доползу – и в аут! А он мне: «Я с тобой, тётя Тома, пять минут поговорю перед сном – и до утра без кошмаров». Приходится разговаривать, а куда денешься? Секретничаем с племяшом: планы строим на Генкину новую жись. И что самое поразительное в этом деле – Катьку свою по сегодняшний день любит. Во как! Она его посылает куда подальше, а он?.. Я рукой махнула: пушай сами со своей любовью разбираются. Моё дело сторона: я его до ума доведу, а там... хоть на все четыре стороны... А хоть и к Катке своей – дети всё ж таки, Михалыч. Все трое на пятёрки учатся, грамоты «за человечность» получают. Добрые, умные... Глядишь, помирятся, объединятся под одной крышей. Ты-то как сам думаешь: договорятся? А?

— Договорятся! Куда они поодиночке? Перековеркали... Бог даст, поправят.



— И не говори: им видней, где чо поправлять. Наше дело сторона. Только я Катьку ни в жись не прощу! Я как-то сгоряча возьми да брякни: «Да чтоб она подохла, твоя Катька!» Это когда она его прилюдно послала. А Гена мне на это: «Нельзя так, тётя, не ты ей жись дарила – не тебе и отнимать». Я и махнула...

— Это, Тома, не твоя забота... Ты и так его, считай, с того света вернула. И не только его – Васятку за компанию с ним уберегла. Чего доброго, он после армии к Дашутке со сватами заявится. Тебя всю жизнь помнить будет. Такое не забывают.

— Дык он и не забывает. Каждый Божий день на «Ниве», как по расписанию. Меня на рынок, Генку в больницу, да мало ли – он тут как тут.

Во дворе заурчал «Урал», газанул пару раз и выкатился из ворот, притормозил. Гена, слегка заикаясь, поздоровался со мной и обратился к Томе.

— Тётя Тома, я мигом: в Мишелёвку и назад – глину надо подвезти. Печка в зимовье дымит, глаза слезятся, спасу нет. Развалю завтра и дымоход заодно поправлю. Васька поможет, он меня на карьере поджидат. Не скучай тут без меня!

— Любую причину придумат, лишь бы с Катькой повидаться! (Это Тома.) Давай, давай, племян, повнимательней на дороге. Уже соскучилась!

Тома одной рукой махала вдогонку удаляющемуся мотоциклисту, другой – концом косынки – промокала выступившие слёзы.

— Такие вот дела, Михалыч! Получатца, всё ихнее счастье на Генке замыкалось. Затих на время племян – и посыпалось. Катьку-то, кроме Генки, спасать некому. Он это лучше нас понимает. Разбаловал. Сама-то она за Генкой сопротивляться разучилась. Сгинет баба! Эх, жись... Генка у нас сроду проворый: в другой раз не замешкается, увернётся. Да и не осталось кого опасаться. Васятка на шаг не отпускает – с утра до ночи при нём. Крепко сдружились... Сколь у Катьки время осталось? Сколь у Генки? Бог даст, выправят, объединятся. Только из деревни придётся уехать: не дадут жизни земляки, затюкают. Злоба кругом. Разучились люди чужому счастью радоваться. Ох ты, Боже мой, куда дальше-то? А дальше некуда. До ручки дошли. А я махнула: до ума доведу – и хоть на все четыре стороны! Заблудилась на мою голову...

— Тамара, ты святая женщина! — Я приобнял Тому за плечи и от души порадовался, что у меня есть такой друг.

— Это у Генки с Ём на «ты», а я... Пушай сами разбираются...

## Санёк

Как-то в самый разгар лета встретил я друга детства, Лапина Саню, не в городе, в районе. Пять лет минуло с того дня. Как летит время... Аккурат напротив новой церкви нос к носу столкнулись. Этот храм, из белого кирпича с золотыми куполами, построил местный предприниматель – высокого полёта птица – директор птицефабрики. Автор идеи и меценат в одном лице, так сказать. На небесах наверняка в прощённых окажется. Деревенские за церковь шибко благодарные: старики молятся; молодёжь свадьбы, крестины справляют; городские не отстают – и у них традиция в «белокаменной» венчаться. Подгадал директор и с местом, и с временем, не ошибся. Потянулся народ к храму: кто из любопытства, кто за компанию с бывшими партийцами, но в основном по совести. Устали люди: надоело в пустоту кланяться, на экраны-мониторы молиться. У края остановились. Ещё шаг – и не выбраться, некому будет руку подать...

А мы с Саньком обрадовались – считай, лет тридцать не виделись – разговорились: что да как – семья, дети, родители, жёны?.. Как всегда в таких случаях. Санёк давай хвастаться: живу, говорит, в достатке – богато! Фермерствую, говорит. Два «Газона-рефрижератора» в наличии, дом заложил кирпичный 10 x 12, жена молодая и ещё много чего наберётся...

— Переженился, что ли? — спрашиваю.

— Переженился! — отвечает.

Сам статный такой, упитанный, гладкий даже, лоснится от сытости-то фермерской, а на тельняшке полос не разобрать и дырки, стоптанные кирзачи на ногах, галифе милицееское в обтяжку, а на улице пЕкло. Говорим, говорим, а я чувствую, сомнения у меня: не всё ладно с интонацией у приятеля. Хвастает, хвастает, а огонька в словах нет. О жене говорит – у самого рот набок – гласные от согласных врозь; в другой раз, наоборот, так буквы склеит, не разобрать, о чём речь. И что-то ещё из него наружу просится. Не решится никак. Я жду, не мешаю...

«Газоны» его тут же у обочины притулились. У одного капот задран: напарник по пояс торчит. Жарища! На моторе картошку в пору печь, а тот ковыряется кого-то.

— А на кой тебе два рефрижератора, Санёк? — интересуюсь.

Он аж вздрогнул. Увлёкся за богатую жизнь пальцы загигать, неохота на конкретное отвечать конкретным. Растолковал погода:

— А пока наше стадо жирок нагуливает на заливных лугах, я по району мотаюсь: живность на корню скупаю. Сам колю, сам разделяю, сам на рынок везу. Свежатинка! Влёт уходит. В Ангарске, в Иркутске места торговые откуплены. Ассортимент, кровь из носу, держать приходится. Чуть рот раззявил — и ты за бортом. Мясной бизнес — дело доходное, но шибко рисковое. Да чего там! Тебе оно надо? Всё равно не поймёшь, пока на своей шкуре...

А я вспомнил, что в детстве он кроликов разводил. Отцу, брату, друзьям не разрешал приближаться. Никому не доверял: жалел ушастых, всё сам. По именам называл, с рук кормил, нянчился с ними с утра до ночи. Школу забросил, футбол, рогатку, велик, в войнушку перестал играть — на зайчишек нас променял. По душе занятие — это ж какая удача!

Я возьми да брякни:

— Ты ж в детстве жалостливым был, Санёк. Кроликов держал, души в них не чаял. На кой он тебе сдался — бизнес этот мясной?

Гляжу, а он аж скукожился весь: лицом почернел, глаза за щёки ввалились, рукой за грудь — и давай мять... Будто ком назад впикивает, на волю выпустить опасается. Крепкий мужик — медведь не мужик — а вишь как его скособочило. Моментом! Одно слово «кролики» — и он поддался!..

А меня несёт — никакого удержу, — добиваю Санька:

— Получается, ты каждый Божий день — с утречка — нож за голяшку и «на большую дорогу»? Так, что ли?

Он застонал, после крикнул пополам с матом:

— Не трави душу, Толя! Сам себе не рад... противен... не трави!.. — и снова стон из груди. Да такой, что и у меня мурашки по спине. Во как! Бизнес, называется, дело доходное!

А напарник рукой машет: поехали, мол...

Санёк сквозь зубы в ответ: «Езжай — я догоню». Когда «Газон» с напарником скрылся за поворотом, прорвало друга. Видать, не один год копил, а тут на тебе — такой случай! Можно

смело выговориться, не опасаясь за семейное благополучие: без свидетелей, так сказать.

— Ты это, Анатолий, верно приметил: «переженился»! На хрена только? Мне с моей первой жилось как у Христа за пазухой. Блажь это кобелиная, а не «переженился»! Я бы и рад назад вернуться, да стыдно перед женой и перед дочками стыдно. А Зойка меня так в оборот взяла – так обхаживат – у меня и времени на ответный ход не остаётся. Я ведь все деньги в это «предпринимательство» вбухал, пропади оно пропадом! Жену мою, Лидуху, с дочками по миру пустил. Квартира, две машины, гараж в придачу – всё забрал и всё профукал. Пять лет на Севере вахтовал, заработал: на дочек мечтали потратить. И это туда же: на «приданое», растудить твою тудить... уууу... башка моя садоя! Вот за этот капитал и вышла замуж моя Зойка, а я в придачу – или в нагрузку. Так получатца? Развела меня дурака, как я кроликов в детстве. Только я их жалел: в жаровне не мучал, шкуру с живых не сдирал. Зато сам на вертеле очутился, у чёрта в юбке. Сколь ни вези, им всё мало: что Зойке, что сыну её – подавиться не подавятся...

А мне – веришь, нет? – глаза пороссячи по ночам снятся; телячи, жеребьячи, бараны; кроликов своих вижу и тоже режу, шкуру с них рву... ммм... Никакого сладу с собой. Нож не успевает до утра остыть. Колю, разделяваю... деньги охалками в дом таскаю. Иногда кажется: в преисподнюю при жизни угодил. Каждый день характер через колено ломаю. Одна труха осталась. Куда чо подевалось? Чувствую, на деньки счёт пошёл: не брошу Зойку в ближайшее время – хана мне, и ей хана...

Дочка младшая, Иринка, проведать приезжала. Мы с ней душа в душу всю жись. Так ведь на порог не пустила. У ворот на скамеечке поговорили – и баста. А тут, намедни, старшенькую прихватило – деньги на операцию понадобились, срочно! Мы на рынке торговали, в Усолье. Я к Зойке: так мол и так, денег дочке на операцию, срочно! А она: «Молоко продай, сметану, творог. Да смотри мне, чтоб молоко не скисло. Никуда не денется твоя дочка, очухается. Яблоко от яблони».

Тома в тот раз выручила: одолжила на операцию и поторговала, пока я обернулся. Хорошо, она рядом оказалась, а так бы... стыдоба одна.

После того случая вроде пелена с глаз слетела. Я ведь до последнего сомневался, себя убеждал: хозяйка, мол, бизнес риско-

вый, нервы опять же. Надеялся, что образуется всё и заживём как люди. Какое там «образуется»! Вчера по колено в крови, сёдня по пояс, завтра по горло... и глаза пороссячьи по ночам. В душе темень... дальше некуда. Всё, шабаш! На днях к мамке перееду, она в Мальте живёт. Дом, хозяйство какое-никакое... нам хватит. За Лиду зуб на меня точит, за мою Лиду. Помогает мамке – не обозлилась – душевная она у меня, добрая. Эх, простила бы... – до старости на руках носить буду.

Вот оно как, Анатолий! Выходит, не врут люди: есть такая болезнь – любовью называется. Не всякий выздоравливает, какой и до смертушки радуется. Говорят, и вакцину изобрели: прививают народ без огласки, для его же, народа, пользы. Ты как, в курсе? – И за грудь: – А у меня внутри клокочет, через край. Боюсь, покалечу своих фермеров, пропади они пропадом, живодёры окайные... и я с ними...

Потом ещё повспоминали. Санёк с моим братом крепко дружили... И разъехались каждый в свою сторону, встретиться не надеялись...

А в прошлом году узнаю от Тамары (моей знакомой) – рассказывает Тома: так, мол, и так... «парализовало Саню, крепко перекосило: не ходит, мычит кого-то; полгода у Зойки в сенях тюфяком отвалился; сейчас у мамки, в Мальте, рядом с печкой выздоравливает».

– А Лидуха его? – спросил.

– При нём его Лидуха, – улыбается Тома.

– Простила? Значит, до старости суждено Лидухе на Санькиных руках кататься... и радоваться... и не выздороветь!..

– Ты это о чём, Михалыч? Какое там на руках? Он только на ноги вставать приноровился – «Ванька-встанька», – ходить заново учится. А ты: «не выздороветь», «на руках до старости»?..

– Да это я о своём, – улыбаюсь.

– Аааа... тогда понятно, а то испугалась за тебя... Старается Саня, изо всех сил к жизни потянулся. Он упёртый. Лида при нём, дочка и мамка с брательником. А брательник у Саньки тот ещё бугай. Женат никогда не был. От баб как ошпаренный бежит, силушки в нём накопилось без баб... любо-дорого посмотреть. Счастливый и без бабы – вот что поразительно!

Саньку на руку сажат и попёр к речке, другой рукой комаров отгонят.

Знакомый один рассказывал: завод лет двадцать как закрыли – Завод лесного машиностроения. Не пригодился по теперешним временам. И то дело: леса-то с гилькин нос осталось. А Володька, брательник Санин, на том заводе кузнецом всю жись. Директор предлагает Володьке: «На выбор – что душа пожелает – забирай, мол, на память... за характер». И что ты думаешь? Он наковальню на горбушку закинул и ушёл, не крякнув. Её только погрузчиком, а Володька так упёр... постеснялся отказаться. У директора слёзы по щекам, растрогался. Старой закалки мужчина. «Каких, — говорит, — мужиков под корень! С кем «булат» ковать? И для кого?» Зубами заскрежетал... и в кабинет к бару... По-трезвому в те дни сердца не выдерживали — в клочья разрывались. Перестраивались-то с наскоку: вместо «булата»... «сыромятину» куда ни попадя... Оттого и трещим по швам, что по гнилому да на «живульку». Из «сыромятины» отродясь ничего путного не шилось. А Володька по сей день с наковальней на горбушке по деревням разгуливает. Куёт ... что при социализме не доковал. С такими сиделками... эх, Санёк, Санёк...

...Год минул с того разговора. А на днях заехал я в магазин – тот что, напротив церкви с золотыми куполами, – стою, люблюсь на витрины. И тут меня по спине, будто лопатой, хлоп! У меня ноги в коленках подломились, еле устоял. Оборачиваюсь – на тебе – Санёк собственной персоной! На парализованного совсем даже непохожий. В той же тельняшке: от белизны, правда, глаза режет, и заштопанная аккуратно – полоска к полоске стыкуется, – и не лоснится. А счастливый! И на первый взгляд счастливый, и на второй, и на третий глаз не оторвать.

— Очухался? — спрашиваю.

— И не говори, очухался!

— Ну и?.. Ты как? При бизнесе или ...? — продолжаю интересоваться.

— При Лидухе я, Анатолий, при своей Лидухе! Слава тебе, Господи! Вовремя Он меня скособолил. А вот и она, моя Лидия Ивановна, собственной персоной. Прошу любить и жаловать!

В магазин вплыла красивая от светлого бабьего счастья Санькина жена, Лида. Санёк представил нас:

— Жена!.. Друг детства!.. — Потом ухмыльнулся и добавил: — Случайный свидетель на жизненном пути...

Когда прощались, спохватился:

— На руках до старости, как и обещал!

Обнял свою Лидуху за красивую талию и направился к уазу. Потом остановился, о чём-то перекинулся с женой и вернулся ко мне.

— К родне хочет забежать – рядом живут – воон в огороде, копошатся.

Ухмыльнулся и давай хвастать:

— Уазик с брательником сконструировали: мотор от грузовичка японского приспособили, дизелёк – от «Мазды-Титан»; согласовали с заводом-изготовителем; добро получили; в ГАИ зарегистрировали; всё чин чинарём оформили! Мосты, коробку, раздатку перетрясли. Как новенькие шелестят! Такие вот дела, Анатолий.

— А чем занимаешься в свободное от Лидухи время? Или нету времени?

Санёк гоготнул, потянулся до хруста в железных суставах и как отрезал:

— Кроликов развожу! А ещё с брательником по деревням катаемся: куём помалеху, нам хватает, ещё остаётся... гы-гы-гы... Крола вот привозил в Сосновку – сватались. Жеребец не крол! Чо вытворяет! Загляденье, любо-дорого посмотреть... гы-гы...

Вон и Лидуха идёт. Прощевай, Анатолий! Бог даст, свидимся. Не поминай лихом!

## Гадалка

Степан проснулся посреди ночи. Полежал с закрытыми глазами, с опаской прислушиваясь к себе... внутри себя. Так и есть: никуда оно не делось, точит и точит изнутри. Видать, срвалось со мной: в печёнке прописалось это моё беспокойство. Приходит без приглашения, исчезает, когда заблагорассудится, возвращается, как всегда, не вовремя. Вот и сейчас: столько надежд на завтрашний день; столько сил затрачено, чтобы организовать эту встречу, а тут на тебе...

— Что на этот раз, Стёпа? — он осторожно потрогал нос, уши, подбородок; пробежал дрожащими пальцами от виска к затылку; опустил вниз по волосатой груди; помял сытый живот, коснулся бедра; вернулся к пупку и медленно опустил руку вниз: — Нормально! Уффф... И ноги на месте, и пальцы чувствую: шевелятся пальцы все разом и по отдельности. Неужто на тыльной стороне «луны»?

Степан попытался встать, но не тут-то было: от острой боли в ягодице искры посыпались из глаз.

— Это ещё что за новости?

Пришлось перекатиться на правый бок и осторожно, меняя позу за позой, сползти с дивана на палас. Он щёлкнул выключателем и заковылял к китайскому трюмо. В тростниковом переплёте, закреплённом между резными колоннами и вращающемся вокруг своей оси, трюмо внушало уважение.

«Умеют делать узкоглазые. Всё у них ладится! Весь мир одели с головы до ног, везде они свои. Удивительно то, что без единого выстрела покоряют народы и континенты».

Степан осторожно спустил фирменные трусы, с американским президентом на американских деньгах, до крепких коленок. Стоя спиной к зеркалу, постарался завернуть шею назад, но хондроз, будь он неладен, проскрипев в районе ушей «ржавыми шарнирами», застопорил движение. Пришлось перегнуться в пояснице и просунуть голову промеж ног. Не меняя позы, шаркая по ковру пятками, Стёпа попятился на китайское трюмо. Ему показалось, что китайское зеркало, смутившись, с трудом отражает неожиданную для него картинку. «Не треснуло бы от натуги. Эксклюзив как-никак, штучный товар!» Голова налилась свинцом; глаза покраснели, разбухли, готовые выпрыгнуть из орбит; в виски с шумом толкала загустевшая кровь.

«Жру без меры... а так ещё ничего смотрюсь, в форме, — подумав, добавил: — Дембель в хлеборезке...»

Если серьёзно, отражение не очень разочаровало Степана. «Но вот этот... с какого перепугу вырос? Ни фиги себе овощ!» На Стёпу тарачился чиряк размером с Пашкин кулачок. Пашка – это племяш, четырёх лет отроду, любимец всей родни и ещё то «шило». Стёпа осторожно дотронулся до розового бугра с бельмом на вершине и замычал: не так от боли, как от досады. «Вот, засранец, нашёл и место, и время подходящее. Да что ж это за напасть такая? Весь год одно и то же: через пень-колоду...»

Обессилив от нахлынувшей тоски, он со всего маха плюхнулся на прикроватный пуфик. И тут же, чертыхаясь от боли, запрыгал, как мячик, чуть не касаясь потолка.

«Ну нет, так дело не пойдёт! Надо что-то менять в жизни!» Он вспомнил, как лет двадцать тому назад тоже всё пошло на-



перекосяк. В драке ногу сломали, потом авария; плюс ко всему в жену шефа вторился по самые... «гланды». Операция, ногу на болтах скрутили, зажала кое-как. Ремонт тоже в копеечку. С женой шефа? И вспоминать неохота. Чуть с «гландами» не попрощался. Любовь – штука заразительная, а пополам с блудом – и по-давно... Тоже операция, только в «кустарных» условиях. Из кустов и подняли люди добрые – наполовину нездешнего. В больнице, когда очухался малость, призадумался: «Что-то не то со мной... Совет нужен, а иначе «труба». Вроде в воронку затянуло, не выбраться самому».

Выписался – и к гадалке. А та: «Поменять тебе надо, милоч, направление. Идешь в другую сторону, вот тебя и ломает! От глупоты, от слепоты твои беды. И карта вон: чёрной масти да чёрной. Разворачивай свою жизнь на 180° – раз! На людей зверем не гляди – два!.. Люди ни при чём – ты с собой разберись».

Степан развернул. Долго держал курс... А года через три снова ногу вдребезги. Уже левую. Он к гадалке, а она: «Ты, родненький, уж больно сильно развернул по полюсам, давай назад, а по ходу прислушивайся, за сердцем своим наблюдай. Где уютно ему и тебе вольготно, там и дорожка твоя. А если в груди смятение, радость к жизни пропадает, ты того – «штурвалом» подкручивай и соображай, отчего так».

...И пошло. Как по маслу покатило. Выправилась жизнь, на лице улыбками, кости крепко срослись. Правда, косолапость стал, зато в футболе такие финты удавались, сам диву давался. Столько дел переделал, столько «косяков» поправил... Эх!

А тут вроде чёрт попутал. Надоумили друзья в бизнес вложиться. Зарекался: с государством в «азартные» игры не играть. Не удержался: захотелось денюжат по-лёгкому срубить. И срубил. Какое уж тут «подкручивай» да «соображай»? Не вспомнит Стёпа, когда по-человечьи с людьми разговаривал. Чтобы не о «прибылях», а так: о здоровье, о детках, о родителях. Не до того. Деньги, деньги, деньги; в голове прибыль, навар, прикуп и прочая бесовщина. Нет свободных мыслей, все рублём повязаны. Тут ведь как – не до шуток: если ты, к примеру, богатеешь и веселишься, то кто-то должен разориться и страдать. По-другому никак. Ничто не появляется из ничего и не исчезает в никуда. Закон сохранения массы и энергии никто не отменял.

...Но там, где живут ангелы, по большому счету, плевать на проблемы, связанные с бизнесом. У них заботы поважней наших будут. Вот они-то, кто с ангелами под одной крышей, и взяли в оборот Степана. Надоело им ждать, пока он сам одумается: помочь решили.

И началось! Ни с того ни с сего хрястнул хребет у Степана. Ни рукой, ни ногой пошевелить. Из больницы не выходит. Врачи смотрят, слушают, головой качают, а понять ничего не могут. И только Ольга Сергеевна (зав. терапевтического) шепнула на прощание, перед выпиской:

— Вы, Стёпа, не в том направлении идёте: в потёмках плутаете. Развернитесь, пока не поздно на 180, поменяйте направление. У вас, Стёпа, сердечко тоской исходит. Оно так и умереть может, если вы о нём не позаботитесь. Уж больно чувствительное оно у вас. Не может ваше сердечко жить без любви, без взаимности. Усыхает в печали, в гербарий превращается. Ему половинку найти важнее, чем ваши бизнес-планы. Оно бы ночи напролёт на свою половинку любовалось, желания бы загадывало, пока звезда падает. Такие желания исполняются. Любите себя такого, какой вы есть, Стёпа. Любите – и будет вам счастье. Вы хороший мужчина, добрый. Отпустите страхи – и уйдут болезни. Вы здоровы! Душа ваша места себе не находит, а это не по нашей части. Вам молиться надо. Покаяться. И непременно влюбиться!.. Вы поняли, о чём я?

— Понял, Ольга Сергеевна, понял... Как не понять!

— Вот и хорошо, вот и ладно... Не обижайтесь... Мы всего лишь люди.

...Понять-то понял, да сразу остановиться не получилось. Летел по инерции ещё почти год. «Вот сейчас, завтра... закончу и завяжу. Читать буду ночи напролёт, писать, сочинять. Есть что-то завораживающее в сочинительстве, непостижимое, интимное даже», — рассуждал он.

...Степан с интересом разглядывал себя с непривычного ракурса, рассуждая: «Ягодицы крепкие, живот в меру, ноги тем более – с малых лет в футболе. Лицо от крови разбухло, щёки на глаза нависли, но тут, я извиняюсь, образ жизни... К зарядке надо возвращаться, к любимому футболу и советы Ольги Сергеевны выполнить. А с челночным бизнесом – гори он синим пламенем – баста! – завязываю!»

...И тут чирей ожил: кожа натянулась, как на бубне; от внутреннего напряжения дрожь пробежала по телу.

— Пряма светопреставление, — буркнул Степа.

И вдруг голос – родной голос! — откуда-то сверху.

— Даю тебе, Стёпка, время до нового года. Два месяца! Если не поменяешь направление и не вспомнишь, чему учила тебя с пелёнок, самого в чирей превращу. И посажу на самую толстую задницу! Так и будешь путешествовать с одной толстой на другую. Уразумел, внучок?

— Бабуленька! Моя любимая бабуленька! Как же я скучаю без тебя. Уразумел! Всё помню! Спасибо, бабуленька, что не забываешь. Поменяю – слово даю! Пропади оно всё пропадом!

...В следующую секунду чиряк, будто из ракетницы, выстрелил «теннисным шариком» в китайское зеркало. «Шарик» пулей отскочил и хлёстко стеганул Степу по мошонке. Он взвыл... но уже через минуту хохотал как ненормальный, утирая слёзы и тихо матеря себя за врождённую упёртость. Потом выпрямился, крутанулся перед зеркалом в одну, в другую сторону, присел и, напевая любимую песню из фильма «Земля Санникова», направился в ванную комнату.

«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Переступил через край ванны и до отказа открыл душ, пустив на голову, грудь, спину упругую струю ледяной воды.

«Бабуленька! Родная моя бабуленька! Всё выполняю...»

И выполнил...

...Степан не спеша шагал по набережной Ангары, теперь уже родного города Иркутска. В груди уютно постукивало сердечко. Рядом, потешно косолапя кривыми ножонками, шагал его сынок, Михаил Степанович. Они оба спешили навстречу красивой женщине, держащей в вытянутой руке три порции любимого пломбира. Она как две капли воды была похожа на Ольгу Сергеевну, мудрую докторшу из районной больницы.

А в ушах, как песня, звучал голос знакомой гадалки: «Где уютно твоему сердечку и тебе вольготно, там и дорожка твоя».

Права оказалась гадалка – ох, как права! Вместе с Олей нам уютно, вместе нам вольготно...

## Серёга

Серёга проснулся с ощущением внутреннего умиротворения и покоя. Он лежал с закрытыми глазами, прислушивался к себе и улыбался...

«Я улыбаюсь? С чего бы?» — удивился он. Он будто через щёлку в заборе разглядывал свою прежнюю, подзабытую жизнь, от которой всеми силами старался избавиться...

«Нет-нет, ещё не время. Надо подождать. А вдруг?» — останавливал он себя, надеясь на чудо. Он верил, что когда-нибудь наступит день — и они соединятся.

«Мои девчонки! Не может быть, чтобы они не вернулись». Он помнил о них каждую минуту. Ждал. Он потому и жив до сих пор — потому что помнил и ждал. И каждый день глушил себя не стаканами, литрами водки, день за днём сжигая свою жизнь. Спешил. Не от слабости, нет! С одним лишь желанием: «Скорей бы «туда»!

— По-другому?

— Не хочу по-другому... — спорил он сам с собой.

Эти пять лет как вечность в ожидании конца... Темень вокруг, ни живой души, одни тени, отдалённо похожие на людей.

...Днём работа, после работы приветливая продавщица Настенька в винно-водочном отделе, а дома проклятый диван. А ещё воспоминания, тени и ночные кошмары.

«Почему так светло сегодня? И этот покой на душе... Так бывало когда-то в той, навсегда потерянной жизни... И голова! Откуда этот свежий ветерок? Как приятно холодит лицо, виски, грудь... Что это? Я слышу сердце! Но ведь оно окаменело. Неужели дождался?»

Пять лет ожидания. То в потёмках похмельного забытья, то во мраке безумного запоя. До очередного «на ковёр»; потом снова «как-нибудь», неумолимо возвращаясь к нему, к своему единственному собеседнику — к запою. «Зачем я здесь? Хочу к ним, к моим девчонкам. Ленка, Танюшка, Оленька... — я не хочу без них...»

...Со стороны посмотреть — рехнулся мужик. В расцвете сил крест на себе поставил. А какой был орёл! На международных линиях вторым пилотом! На командира со дня на день приказ ждали...

— Какой сегодня день? Ага, суббота. Уфффф... Что-то припоминаю, правда, не очень... Да чего там, всё как всегда: продавщица Настенька с приветливой улыбкой, два литра водки и проклятый ди-

ван. Провались всё пропадом! Здоровье подводит бычье. Другой бы давно загнулся.

— А побороться?

— Не вижу смысла...

— Ты помнишь, Серёга, как летал вторым пилотом?.. Все переаттестации на «отлично», английский в совершенстве! Весь мир на ладони! Последние семь лет к Хабаровску приписан... был...

— Я помню... Эх, жизнь!..

«Странное дело, сегодня светло... и легко вспоминается. Такое чувство, что я прощаюсь со всем этим... опостылевшим. Туман на глазах тает, светло... и зелень вокруг».

— На глазах?

Он поднёс ладони к лицу, легонько надавил на глазные яблоки. «На месте глаза. Оба на месте. Не может быть!..» Серёга осторожно приоткрыл глаза: сначала один – тот, который должен быть на месте; потом второй – «выбитый». «Оба на месте. Я снова вижу? И правда, туман тает и зелень...»

...В памяти всплыли подробности той роковой ночи. И драка. «Другой бы сопли на кулак... хвостом вильнул и на полусогнутых в сторону. Летал бы сейчас командиром и горя не мыкал. Не маялся бы как неприкаянный: то в экспедиторах, то в грузчиках. Пропади оно... Но не проходят у нас такие фокусы. Вокзальская шпана. Шпаной был, шпаной и останусь, пока земля носит. Не долго уж осталось, при таких-то скоростях».

...Дождались с Ленкой боя курантов, выпили по бокалу советского шампанского. За любовь вечную! За дочурок родненьких! За судьбу счастливую! Потом уложили дочек спать. Укрыли верблюжьим одеялом, поцеловали в завитки на висках и вышли на мороз прогуляться. Луна со звёздами хоровод водит, ночка мягкими снежками норовит в лицо угодить. Весело на улице, знакомых полно, на сердце радость. Счастью, казалось, конца краю не будет. Под ручку по нарядному городу гуляли, целовались, как на первом свидании. В любви объяснялись, в верности клялись – «и в радости, и в горе»...

Встретился Серёгин приятель, штурманец Вася – Василёк. Обнялись, поболтали, пошутили, пожелали всяческих благ друг другу. Душевный парень. Москвич. Воспитанный, начитанный, образованный, внимательный. Чересчур внимательный. Серёга его как-то предупредил: «Ты, Вася, того: zenки свои «впучь» вов-

нутрь и козырьком придави. При Ленке ножонками не сучи. Прибью!» Вася тогда «впучил»...

Серёга с Ленкой, вдоволь нагулявшись, решили, что пора возвращаться домой к дочуркам. Свернули в знакомый проулок и нос к носу столкнулись с весёлой компанией. Человек десять их было. В сильном подпитии. Герои! Время позднее – вокруг ни души. Потом догадался – караулили, поглумиться хотели. Толпа! Кого бояться?

Слово за слово – «закурить, позвонить»... Когда к Ленке лапы потянули, щёлкнул предохранитель у Серёги, перемкнуло в голове. У него с детства так: щёлкнул – значит, пора! И попробуй его остановить. Вокзал приучил: не вилять, не прогибаться. А предохранитель, чтоб разговоров потом не было: мол, прозевал, упустил момент мужиком остаться. Проверено с предохранителем: ни разу не подвёл хозяина.

На автопилоте «работал» – за Ленку шибко боялся. Отступила компания: дрогнули мОлодцы. Вроде выстоял. Подустал малость, но ногами крепко упирался. Отдышался, руки теплом налились, обстановку оценил... «Пора уходить», – решил.

И надо ж было отвлечься в этот момент. В тот самый момент и погасла Серёгина звезда. Горячий глаз приятно обжёг замёрзшую щёку. Повис на жилах и начал таять, как пломбир на ладони. Мозг будто молния прошла: «Выбили глаз, сучата. Вот и всё – конец». Такое горе захлестнуло, такая досада навалилась...

...И, как гром среди ясного неба, оглушил грохот ворот самолётного ангара. Это Гражданская авиация захлопнула перед Серёгиным носом стальные двери в святая святых – в его небо...

...Следовательно всё удивлялся: «Как такое возможно, чтобы мужик с одним глазом с кодлой хулиганов справился?» Ребятки-то оказались те ещё разбойнички, со стажем душегубы. А мужика так и не одолели. Зато он их упаковал, как новогодние подарки. Серёгиними руками подковы разгибать – силён парняга. Что есть, то есть.

...Год его мучили. Следствие, тюрьма, операция, суд... снова тюрьма. Вышел весной по амнистии. Дома ни Ленки, ни дочек. Укадили с Васильком в Москву.

Гражданская авиация предложила работу на земле. Спецы – они и на земле позарез.

Только без Ленки и дочек земля для Серёги что мёртвая пустыня. Хоть волком вой. Пробовал с одним глазом в «пустыне». Куда

там – гиблое дело. Слезы горячие по жилам огнём растекаются, нутро в пепел выжигают. Спасу от них нет...

К вину пристрастился, пожиже разбавить пытался. И с вином кипяток по жилам. Горит в груди. Там, где сердце огонь полыхает. Спасало то, что живут они порознь: Серёга в Хабаровске, а сердце его с Ленкой и дочурками в Москве.

...Помучились с Серёгой в Гражданской авиации, помучились; в конце поняли: не спасти парня – пропал. Списали на пенсию по причине отсутствия одного глаза.

— То ли левого, то ли правого?

— Какая разница? Пять лет как сто веков...

— Был ли в Москве?

— Был... Вчера вернулся. Ленку у подъезда встретил, дочек. И Васю с ними. Издали наблюдал. Дочурками любовался. Ленка штурманца обнимает, целует, прижимается. Дочки руки его не выпускают. Счастливые...

— Почему не подошёл?

— За Василька испугался. Не в себе я был, и «предохранитель» мог того... Эмаль на зубах, и та треснула – не выдержала. «Предохранитель» бы и подавно.

...Сегодня с утречка Серёга в баньку ходил: напарился от души. В парикмахерской красоту навёл. Дома в лётную форму нарядился. Сидит как влитая! По пути заглянул в храм к отцу Михаилу. Поговорили по душам. Отпустил грехи отец Михаил. Благословил в дорогу... В винно-водочном бутылку шампанского купил («Советского»), Настёну расцеловал. Попрощался. Хороша Настёна! Мужа бы ей доброго...

Пришёл на то место, где на берегу Амура всем семейством, с Ленкой и дочками, любили отдыхать по выходным. Чуть дальше, вниз по течению, яр над рекой возвышается. Вот с того самого яра и шагнул Серёга в глубокий омут. До дна в том месте никаким шестом не достать. Бездна. Тысяча дорог в той Бездне. Одна-единственная к самому себе ведёт, широкая – к Богу, от Бога – к... к Ленке...

«Когда воздух из лёгких вытолкнул, показалось, что крылья за спиной выросли. Через мгновение снова на обрыве очутился. Не поверил сначала. Потом запел от радости. Понял, что снова летать

могу. Глянул на лацкан – а там золотыми нитками вышито: «Ангел-хранитель»! Свершилось! Благословение отца Михаила помогло. Это ж надо как вовремя. Слава Богу, дождался!..»

## Пашка

Пашка проснулся со знакомым чувством восторга. Шевельнул пальцами и заулыбался. Во сне он снова летал. Как же здорово уметь летать! Пока у него получалось только во сне. Но Пашка был уверен, он твёрдо решил, что научится летать и днём.

Лежал на высокой пуховой подушке с закрытыми глазами и улыбался. Он попытался снова уснуть, чтобы ещё лучше запомнить себя в полёте. Так и лежал с закрытыми глазами, улыбался и мечтал.

Зимой он прыгал с крутой крыши стайки в глубокий сугроб и... почти летел. Мешала фуфайка, она не давала планировать. И ушанка постоянно сбивалась на глаза. Валенки тоже не прибавляли «аэродинамических» свойств. Это слово он услышал от дяди Серёжи. Дядя Серёжа – лётчик. Он летает на вертолёте. Но вертолёт Пашке не очень. Вертолёт смахивает на стрекозу.

Пашка решил учиться летать весной, летом и до самой поздней осени. Весна прошла, на дворе лето. Он уже успевал сделать три маха руками, летая с той же крыши на грядки (зимой только один, ну от силы два маха).

Мама предупредила, что «насыплет соли под хвост» за грядки. Что она имела в виду? У Паши нет хвоста, как у Шарика или у Петуха. У него есть хвостовое оперение!

Пришлось прыгать с Серёгиного сеновала на его грядки. Серёга – это не тот, который дядя, а другой. Этот Серёга – сосед (он живёт через два дома) и закадычный Пашкин друг. Баба Марина накостыляла обоим. Она сняла верёвку с рогов коровы Марты и прищучила друзей в загоне.

Оперению досталось крепко. Сначала оно горело огнём, а через пару дней начало чесаться. Мама сказала, что дела пошли на поправку. Это значит, что скоро можно возобновить полёты.

Пашка потрогал попку и весело засмеялся:

— И не чешется уже... и совсем не горит...



Он понял, что заснуть не получится, поэтому приоткрыл глаза. Сначала правый – капитан стоял на прежнем месте. «Поджидает, как и обещал. Настоящий капитан!» – обрадовался Пашка. Потом открыл левый – всё в полном порядке. Все на своих местах: и море, и лодочки, и его кораблик – все поджидают его. И даже чайки кружат тут же – на белёном потолке, над самой головой.

«Скоро я вырасту и стану капитаном. Сначала моряком, как папка, а потом обязательно капитаном».

Пашкин дом срублен из толстых брёвен; пол и потолок собраны из мощных плах. Стены и потолок обиты дранкой и заштукатурены. Поверх побелены извёсткой. Пол покрашен масляной краской светло-коричневого цвета. На потолке и стенах извёстка перед каждой побелкой кое-где вспучивается. В таких местах её соскребают и заравнивают неровности белилами. Потом снова белят извёсткой.

На потолке из таких вот неровностей и многолетних набелов родилось море и появился капитан.

Капитан смотрит в сторону моря и поглядывает на Пашку. Во рту у него трубка. Он придерживает её рукой и вкусно курит. Паша пробовал курить папину папиросу из пачки с названием «Беломорканал». К сожалению, закашлялся до слёз, и даже из носа побежали сопли. Хорошо, что курил у печки, в другой комнате. С того места его не видно капитану. А так бы точно опростоволосился.

«Мне будет не страшно плавать по морям, потому что скоро я научусь летать», – так думал Пашка и прыгал с самых высоких крыш, широко раскидывая руки и махая ими в полёте.

...А ещё Пашка мечтает стать шофёром. Серёгин отец (дядя Саня) ездит на лесовозе. Когда он проезжает по улице, то коники позвякивают, как колокольчики. Серёга бросает все дела и бежит встречать своего папку.

Дядя Саня даёт Серёге и Пашке порулить своим ЗИЛом. У ЗИЛа-157 два ведущих моста (или три?). Его называют студебекером и королём дорог. Мальчишки попеременно встают меж коленок у дяди Сани и крутят огромную чёрную баранку. ЗИЛ очень послушный, он подчиняется каждому движению мальчишеских рук.

...А ещё у друзей есть свои игрушечные самосвалы. Это тоже ЗИЛы. У Серёги синего цвета, а у Пашки зелёного. Машины такие большие, что на них можно спокойно садиться верхом и ехать с горки. Сбоку у машин имеется рычаг, и им можно поднимать кузов,

а двери открываются настоящими ручками. Машины железные и очень надёжные.

Сегодня Пашин папка возвращается с переподготовки на скором поезде Владивосток – Москва.

«Мой папка – моряк! – Пашка что-то вспомнил и от радости запрыгал на кровати. – Папка везёт мне моряцкую форму. И всё-таки я буду капитаном, а Серёга пусть шофёром. Ведь это мой папка едет из Владивостока, и он моряк. Конечно, Серёге легче стать шофёром. Он будет ездить по лесным дорогам. Но я скоро научусь летать, и мне будет совсем не страшно плавать по морям».

Терпеть стало невмоготу, и Пашка спрыгнул с кровати на пёстрый коврик, связанный бабой Сусанной из разноцветных лоскутков. Прошлёпал босыми ножками через зал. На ходу соединил ладошки рук и, будто прыгун в воду, нырнул меж плюшевых занавесок в дверной проём. Он оказался на кухне. Покосился на разомлевших тараканов, прислонившихся жёсткими спинками к ещё тёплым кирпичам печки. Проскочил кухню и толкнул тяжеленную дверь на веранду. Пробежал по прохладному полу и выскочил на высокое крыльцо.

Шарик радостно тявкнул, но, заподозрив неладное, проворно шмыгнул в будку, звякнув железной цепью. Был виден только чёрный кончик его носа.

Пашка спустил до коленок сшитые бабушкой (на заказ) «флотские» трусы и дал упругую струю в сторону будки. Очередь ударила по крыше собачьего домика:

— Ни чо себе – через всю ограду достаю! — радостно воскликнул мальчуган.

Он передал струйку и пошарил глазами по курам:

— Аааа... вот ты где!

Петух прижался боком к поленнице. Он замешкался и теперь понял, что попал в западню. Покосился на Пашкину руку, прикинул расстояние: «Эх, не успеть мне за нашим сорванцом. Ничего, в следующий раз подкараулю и прищемлю твой крантик...»

Потом по-отечески усмехнулся, откинул гордую голову, расправил сильные крылья и запел на зависть соседским петухам.

— Ку-ка-ре-кууу... — полетело над привокзальными улицами, толкнув в крутой бок сонный паровоз и устремившись к опушке леса. Нырнуло в глубокий лог, на лету потрепав зайчишек за

серые ушки. Заглушая все звуки, расплёскиваясь через край, цепляясь за макушки сосен и снова набирая силу. Наполняясь десятками таких же «Кууу... кааа... реее... куууу...»... дальше и дальше ... к косачиному току, чтобы слиться с настоящим, вольным, первозданным и тоже петушиным.

«Ааа, пусть веселится себе малец! Что, убудет с меня, что ли? Пацан – он и есть пацан. Ну, давай, отпускаяй пальцы, а то, не ровён час, лопнешь, как мыльный пузырь», — и захохотал петушиной песней, представив Пашку... пузырьрём.

А Пашка виртуозно накрыл весёлого петуха веером брызг с первой же попытки. Потом уж поливал без разбора, крутясь на крыльце во все стороны.

Курицы по дурости ринулись было к нему, думая, что Пашка раскидывает им зёрнышки. Потом поняли, что оплошали, и с весёлым шумом отбежали к петуху.

А тот, смеясь, кричал Шарику:

— Ну не засранец ли наш капитан, Шарик?

Из будки Шарик весело поддакивал другу:

— Засранец! Ох и засранец! Добрая душа у Пашки, шепутной только. Весь в хозяина. Два капитана на нашу голову. Повезло нам с хозяевами.

Петух тоже вострепнулся и весело закудахтал:

— И не говори, дружище... Повезло так повезло!

Струйка надломилась и потеряла силу. Последние капли кучно упали на Пашкину ногу. Он потряс ею в воздухе, натянул сатиновые трусы, потом приспустил их на середину бёдер и уже было рванул с крыльца вниз. Но покосился на петуха, вернулся на веранду и с ходу вонзил ноги в коричневые сандалии.

Развернулся и пулей слетел на кирпичный пол ограды. Завернул за угол веранды, проскочил небольшой проулок и подбежал к ларю с зерном. Приоткрыл крышку, упёрся лбом в её край, насыпал в отворот майки несколько пригоршней золотистых зёрен. Забросил горсточку в рот, с удовольствием разжевал, потом резко выдернул голову наружу. Край тяжёлой крышки больно царапнул по лбу, но Пашка даже не поморщился.

Вернулся на крыльцо, на ходу зазывая:

— Цып-цып-цып... цыып... — приглашал он разномастных кур, поглядывая на здорового петуха.

Пашка понимал, что малость переборщил, что обидел и петуха, и куриц. Поэтому спешил восстановить отношения.

Петух не сдвинулся с места. Только проскрипел железным горлом что-то ворчливое, будто ножом по стеклу царапнул. Развернул веером правое крыло, взъерошил перья на загривке, потряхнул мощным туловищем, сбросив Пашкины капельки на землю. И не глянув на зёрна, гордо зашагал, высоко задирая украшенные острыми шпорами когтистые лапы, к подворотне, ведущей на улицу.

— Петька, ну ты чего, а? Чо злишься-то? Я же шутя и совсем даже без злобы, — уговаривал Пашка неподкупного друга.

— Да ну тебя! Каждое утро одно и то же, — ворчал, пряча ухмылку в розовой бороде, повеселевший петух. — Ты лучше Шарика угости вкусеньким. Он целыми днями на цепи сидит, а ты ещё издеваешься над ним. Такая собака добрая, а ты ну просто дурак дураком.

Пашка опешил от таких слов. Развернулся и пулей влетел на крыльцо. Сбросил сандалии и забежал на кухню. На печке стояла сковорода. Он приподнял крышку и ухватил самый большой пирог с ливером. Пирожок был золотистого цвета, пропитан сливочным маслом, с хрустящей корочкой и ещё совсем тёплый. Местный мясокомбинат лепил такие пирожки каждый день в несметном количестве. Их раскупали мигом. Зимой запасались вёдрами, хранили на морозе, а по надобности разогревали в сковороде, на топлёном масле. И уплетали, запивая круто заваренным сладким чаем, забелённым густым от сливок молоком коровы Марты.

Пашка вернулся на крыльцо, где его уже поджидал, весело помахивая пушистым хвостом, верный друг и товарищ Шарик.

— Шарик, ну ты-то хоть понимаешь, что я вас люблю? Особенно тебя и Петю.

Добрый пёс лизнул мальчугана в губы и боднул мокрым носом в живот. Пашка засмеялся, обнял Шарика за шею и вручил пирожок.

Собака деликатно приняла гостинец, отошла в сторонку и аккуратно съела вкусный подарок. Потом с удовольствием потянулась и, бренча цепью по натянутой через двор проволоке, тоже просеменила к подворотне. Улеглась на живот и с интересом принялась наблюдать, как закадычный друг Петруха заигрывает с соседскими курами.

Пашка летел дальше. Мимоходом заглянул в загон к Борьке. Натурально хрюкнул. Борька повернулся к парнишке и хрюкнул в

ответ. Мол, привет, братишка! Отмахнулся широким ухом от назойливой мухи и снова утопил свой пяточок в глубоком корыте. Смачно зачавкал и тут же забыл обо всём на свете.

«Никакой радости в жизни. Одно корыто на уме, — с сожалением покачал кучерявой головой Пашка. — То ли дело петух — все зёрнышки своим курам отдаёт. И не только своим. Мама обещала ему голову отвернуть за то, что шлындрает по чужим дворам. Но я-то знаю — она это шутя на него ворчит. Любит она свою Петеньку. Так и говорит: «Какой хозяин в доме — такой и петух на дворе». Не нарадуюсь, говорит, ни на одного, ни на другого. А поёт-то, говорит, а поёт... «Шаланды полные кефали в Одессу Костя привозил...» А по-моему, это папка с дядей Кешей так поют? Дядя Кеша — это папкин старший брат. Он с ружьём на поезде катается по всему белому свету — караулит от воров вагоны с ценным грузом. Весёлый дядя Кеша и тоже петь любит. Сегодня они с папкой споют.

И брага выходилась. Паша вчера выловил штук пять черносливин из бутылки и не вспомнит, как уснул.

«Брага — это так, баловство одно. После баньки по кружечке, другой, чтобы кровь очистить от шлаков», — папка так говорит маме.

«У нашего отца кровь — что вода родниковая», — это мама о папкиной крови и о его браге.

К праздничному столу мама припасла две бутылки «Московской», а для женщин — бутылочку вермута с красивой этикеткой.

«Праздник всё ж таки. Как-никак — муж домой на побывку едет». Это мама специально так говорит. Злится на отца, что тот никак не угомонится — не может распрощаться со своим Тихоокеанским флотом.

«Пора бы остепениться... по морям-то плавать. Так нет же: охота пуще неволи. Всё хозяйство на сына малолетнего оставил. А тому тоже летать подавай, да всё на грядки норовит приземлиться. Вот ведь порода летуче-плавучая на мою голову... И смеётся мамочка. Весело смеётся. Я люблю, когда она так смеётся. Я ради этого её смеха на всё согласный. Только бы она смеялась и смеялась каждый день...»

А Пашка тем временем просунул руку через дырку в заборе и старательно кряхтел, пытаясь отодвинуть деревянную задвижку, запирающую калитку в огород.

«И кто это додумался запирается со стороны огорода? Хотя когда я был маленьким, то лез в каждую щель. Так мама говори-

ла. Вот и приходилось придумывать хитроумные запоры от маленького Паши...»

Деревянный брусок наконец сдвинулся с места и плавно поехал в сторону. Калитка отворилась, и Пашка очутился в огороде.

Огород и сад разделял деревянный тротуарчик. Он начинался сразу от калитки и заканчивался у крана летнего водопровода. Тут же стояли две железные бочки. К одной из них и спешил Паша.

Её специально установили под густым кустом черёмухи. Это чтобы вода не очень нагревалась на жарком солнышке. А в бочке вот уже второй месяц жили два карасика. Они были самые настоящие. Бока и спинки у них отливали золотом. Они любили Пашу и очень верили, что когда его папка приедет с переподготовки, то они все вместе отправятся на лесное озеро и там их отпустят на волю.

Карасей Паше подарил дядя Саня (Серёгин отец). Как-то весной он взял друзей с собой на рыбалку. Рыбачили на закидушки. Когда рыбка попадалась (а попадалось сразу по нескольку штук), то леска дрожала в руках. В тот раз наловили много рыбы. Паша попросил только двух карасиков.

Серёгина баба Марина нажарила полную сковороду рыбы. Но Паша отказался угощаться. Он принёс своих карасиков домой, налил в таз воды и опустил их туда. Сначала рыбки не двигались. Паша расстроился и ушёл к кроликам. Погрустил с ними, поговорил. Под верандой живёт молодняк. Они тоже любят Пашу. Кролики обступают его со всех сторон. Залазят верхом и щекочут пушистыми мордочками где попало. Он с ними разговаривает обо всём на свете и всегда угощает малышей вкусеньким. Когда травой, когда морковкой, когда овсом, когда ещё чем-нибудь.

А когда вернулся в огород к рыбкам, то не поверил своим глазам, а счастью не было конца. Он очень обрадовался. Карасики плавали в тазу и, ему показалось, просили кушать... Мама помогла приспособить бочку для временного жилища рыбам.

А вечером Паша и мама написали письмо папке. Так, мол, и так – возвращайся скорей, потому что карасики в неволе долго не протянут. Это чтобы он понял, что никакие отговорки не принимаются. Карасей надо спасать. А на своём мотоцикле (Иж-49) ездить может только он – папка.

А как ещё можно добраться до лесного озера? Да никак! Только на папкином ИЖ-49. Не зря же Паша каждый день проти-

рает мотоцикл вафельным полотенцем. Потом садится на широкое сидение, понарошку заводит мотор и едет до самой Америки. А на обратном пути обязательно заворачивает в столицу нашей Родины – город Москву. Там на Красной площади в мавзолее лежит дедушка Ленин.

Пашка накручивает ручку газа, натурально рычит, переключает на бензобаке скорости, тормозит ручным и ножным тормозом. А ещё подкачивает колёса мотоциклетным насосом и проверяет бензин в бензобаке. Для этого надо отвернуть блестящую крышку бензобака, вытащить металлическую сетку из горловины, а уж после прутиком замерить уровень бензина. «Бензин есть, его хватит, чтобы доехать до лесного озера».

Пашка опустил голову над бочкой. Внимательно присмотрелся. Но в чёрной воде ничего невозможно разглядеть. Тогда он набрал полную грудь воздуха и погрузил лицо в воду. Сначала только лицо, потом и голову до самых плеч. Глаза то щурил в щелочки, то таращил, раскрывая до отказа. «Ничего не видно? Да куда они запропастились-то?!»

И тут он почувствовал, как рыбка щиплет его за нос. Сначала он заметил одну тень ... и тут же другой карасик ущипнул Пашку за губу. Паша нисколько не испугался, а даже наоборот... Чтобы не перепугать рыбок, голову вытянул из бочки медленно. И только потом громко фыркнул и жадно хватал воздух ртом.

— Здесь! На месте! Как же я устал переживать за вас. Ну, ничего, сегодня приедет папка, и мы отвезём вас на ваше озеро.

Сегодня! И никаких после! Папка меня поймёт, он не станет откладывать поездку на завтра. Надо срочно спасать карасиков. Хорошего мало – жить в бочке. Даже человек-амфибия, и тот чуть было не очутился в железном баке. Но то человек. А тут – карасики! Маленькие, золотистые, наивные...

Не скучайте, хорошие мои, сегодня вы будете играть с такими же карасиками в вашем лесном озере. Даю вам слово! Мы с папкой вас спасём... Сегодня...





# **Миниатюры, эссе, новеллы**





## Ангара

...Без бурь и штормов, в тиши: уютно, привычно живётся многим и многим из нас в своих, давно опостылевших, жилищах. Мы будто на необитаемом островке обыденности схоронились за чашкой повседневности, посреди затянутого тинной, протухшего от стоялой воды мыслей болотца. «Моя хата с краю, я ничего не знаю... и знать не желаю» – и пусть протухшего...

А за величиим Вселенной, манящей тайнами непознанных глубин, подглядывать через щёлку в заборе, заодно таща всё, до чего дотягиваются наши ловкие лапки-ручки и лапищи-ручищи.

Почему у человека руки, а не крылья? С крыльями он был бы совсем другим: красивым, гордым, великодушным, тонким, чистым, нежадным. Он бы свободно парил над землёй; любовался слонами и жирафами в Африке; вдоль и поперёк облетел бы Америку, а продолжать свой род прилетал бы в Сибирь. Потому что только на сибирских просторах можно вырастить крепкое потомство: способное летать, лететь и долететь. Здесь, в Сибири, живут наши боги. Боги любят тех, у кого за спиной крылья.

Зачем руки? Почему не крылья??

...К нам пришла весна! Для сибиряков весна как Божья милость. Каждый её приход для «городских» как спасение от неминуемой гибели. «Девять месяцев зимы, остальное лето» – это про нас.

Почему «городских»?..

Да потому что русская печка живёт в избе деревенской, а не в квартире городской: в любое время года от стужи спасает. С печкой нам сам чёрт не брат; поленница до конька – живи хоть два века.

...Ангара в очередной раз напомнила о своём крутом норове. За ночь разворотила толстенный лёд и разбросала огромные глыбы далеко за берег. С нашей Ангарой лучше на «вы» – и никак иначе. Человек, приковав её цепями плотин к берегам, уверовал, что приручил реку. Ошибается человек! Для Ангары его плотины – семечки. Такая силища! За спиной у Ангары не «болотце под тинной»; за спиной могучий Байкал-батьюшка. И не дай Бог, если «рыкнет» батьюшка или стон вырвется наружу: в океане «семечки» плотин собирать будет некому...

...Ангара бесподобна! И как бы ни старался человек превратить её в заурядную речушку – не получится. Она всё ещё ждёт, на-

деется, из последних сил терпит... «Неужели не одумается человек: не поймёт, что всё испортил?» — недоумевает Ангара.

— До беды считанные денёчки! — кричит река. — Одумайтесь, люди добрые! Пощадите!

Не слышим? Не желаем услышать??

— Не года — деее-нёооо-чкиии!!! — разносит эхо.

...Могучая река с тугим изумрудным потоком ледяной лавы, еле сдерживая себя, спешит к океану. Середину распирает от неужённой силы; от напряжения звенит воздух, вибрируя разрядами молний, будоража обновлённые стихии: ввысь! — в грозу! — в небо! — вширь!..

...Берега выгибаются плавным руслом: «Не оплошать бы, — опасаются берега, — не поранить бы родное тело любимой реки».

...И только человек, с его плотинами, не ведает, что творит...

— Деее — нёооо — чкиии!!! — всё громче эхо...

...Невозможно не услышать...

## **Закат на Белой**

...Сегодня, любуясь закатом на реке Белая, — глядя вдаль: туда, где из-за горизонта выплывает раскалённая река, до краёв наполненная алым, не голубым, — поневоле становится не по себе. Не по себе оттого, что вдруг осознаёшь, каково это — миллион лет томиться в заточении каменного панциря, внутри собственного яйца-склепа.

Откуда этот тихий настойчивый стук? Неужели это «Я» в направлении неизвестности? А может, это кто-то неведомый вызывает о помощи?..

Нет, стук — это предупреждение всем: «Я» иду!

Это объясняет многое...

Так и есть, яиц миллионы, но это — оно особенное!

Ты слышишь? Оно будто говорит: «Я особенное — я золотое в алмазах. Потому что река алая — не голубая. Сегодня мой день — один на миллион. Он наступил. Мне пора!»

...Последнее усилие — и вот он «Я». Сегодня — не потом. «Потом» может не успеть, у него миллион дней и миллионы яиц-склепов.

...Замах — и «Я» вернулся! Наконец-то можно свободно расправить крылья; от души напиться алым, не голубым, и поблагодарить

«Его» за новую жизнь. Он не забыл: Он вернулся за мной. Значит, я особенный. Я не такой, как все, – я такой же, как миллион лет назад.

Как Он угадал с закатом? Хотя что тут удивительного: Он не ошибся с первым, не ошибётся и с последним...

...Осталось главное: осталось найти её – единственную мою. И всё чтобы повторилось, как тогда – миллион лет назад...

## **Платье белое**

...Мы уже не раз слышали о том, что человеческий организм способен к самовосстановлению. В последнее время нам то и дело демонстрируют примеры удивительных исцелений. На глазах прирастают, казалось бы, безвозвратно потерянные конечности; восстанавливают свои функции внутренние и внешние органы. Оказывается, наш организм, при правильной его эксплуатации, служит долго и не даёт сбоев.

...Но есть кое-что ещё, и оно не менее ценно для каждого из нас. Это «кое-что» убывает, и с этим приходится мириться. Посудите сами:

- Горе – кусок оторвался,
- Радость – ещё кусок,
- Влюбился – два куска долой,
- Предал – нет тебя половины...

Сидишь в конце, будто «обструганный», и не осталось у тебя в запасе, чем жизнь зажечь. То ли жив, то ли уже на том берегу? И члены вроде целы, и органы без сбоев, а внутри стужа. Тлеешь, как головешка: ни тепла, ни огня, ни жару внутри...

Это «кое-что» – оно неспособно к самовосстановлению. Его на один раз отмерили.

...Это как честь – и беречь её смолоду. Или как платье «белое» – а его – с нова. Не спешить... и чтобы вовремя.

...«Куски-самородки» заканчиваются. Больших совсем не остаётся. Вот и мечем потом бисером, пыжимся, ножками сучим.

И не полюбить до смерти, и не в омут с головой... И не на край земли, и не за край...

...Не всем счастье выпадает – повстречаться с ней. Но уж если повезло испытать, то пусть это будет единственный, последний, кусочек. В нём всё тепло, в нём весь огонь...

И пусть оно поёт – это «кое-что»!..

А если не выпало? Тогда уж лучше в монастырь. Но только бы не тлеть. И только бы не бисером...

## Депрессия

...А тут ещё передачу прослушал о том, что вороны – одни из самых умных обитателей нашей планеты...

Человек в последнее время совсем ослаб. И душой, и телом: полинял будто. Здоровье не уберёг, способность к выживанию утратил и связь с живым миром растерял. Болтается сам по себе. Куда подтолкнут со стороны – туда и идёт, пока кто другой не толкнёт. Стержня не стало, чтобы опереться и упереться – на своём своё отстаивать.

Пройти с таким человеком плечом к плечу: через блёклое к яркому, через ночь в день, сквозь ожидания к встречам.

Перестали на земле верить человеку. Боятся. Жалуют, что обманул себя – свернул с пути истинного. Жизнь перестал ценить, временем не дорожит. Согласился по чужим правилам жить. Пустышку тянет человек. На посмеище себя выставил.

...Нет там ничего впереди; завтра нет и послезавтра тоже нет.

Если сегодня не проснёмся – не отыщем к себе дорогу, – так и будем правду в неправду заворачивать, глаза от детей прятать...

В себе надо «ковыряться», да поглубже. Искать, найти, разбудить память родовую. Вспомнить, какими нас Господь задумал. Не оглядываться и не подстраиваться под «как все».

Мы другие! И не желаем «как все»!

Нет одинаковых людей; нет одной судьбы на всех; на двоих одной нет.

«Я никогда не смогу быть тобой... Прости! Прими меня таким, каков я есть...»

...Вороны, и те говорят на разных языках. Ворон из Америки не поймёт ворона из России. Чего же от людей ждать? Говорить – это не значит понимать. Мы разные – в этом суть!..

...Вороны умеют иронизировать и рассуждать, они наблюдательны и мудры. И кроме всего прочего, они умеют оставаться верными друг другу на всю жизнь.

Почему они могут, а мы сомневаемся? Они живут, а мы застряли в ожидании.

Чего мы ждём? «Завтра» нас обманет так же, как обмануло «вчера», «позавчера»...

Так было... и так будет всегда! Кто-то ловкий придумал ловушку для наших душ. Привыкаем ждать. Отвыкаем жить...

Ожидание. Не стоит ему верить. Оно пожирает годы, десятилетия нашей жизни. В конце ничего, кроме сожаления...

Чего ты ждёшь от жизни? Смешно. Жизнь неповторима, и её уже нет...

У кого спросить «как»? У кого научиться радоваться каждому мгновению? Проживать всякий день как последний? Надо помнить, что жизнь прекрасна – и она неповторима. И вряд ли нам позволят вернуться скоро: что-то исправить, улучшить, повторить. Мудрость в том и заключена: использовать свой шанс сполна. Не важно, что было. Важно порадоваться за себя в конце. И никаких сожалений.

О чём-то жалеть – глупо! Тосковать – грешно!

Радоваться надо: ты приобрёл опыт, ты прошёл испытания.

...Зло справа, добро слева, я посередине. Надо решиться, а не метаться из стороны в сторону. Надо жить!

Выбрал зло? Значит, не сомневайся: иди своей дорогой, не оглядываясь, не трясись, не юли... не моли о пощаде в конце. Это твой выбор...

В какой стороне иллюзия? Не там ли, где застряло большинство людей? Посередине: между добром и злом...

Нет никакой середины. Посередине пропасть. Не удержаться над пропастью. Только силы понапрасну тратить. Посередине бездна!

И потом ничего...

А когда это «потом»? И что это «потом»?..

Куда потерялось «сегодня»?.. Надо вернуть «сегодня»!..

Ковыряй глубоко, до крови, не останавливайся!..

Ага... что-то показалось... Наконец... Это моё «сегодня»! Это и есть моя жизнь. И никаких сожалений... в конце...

## **Бессонница**

Ты уже знаешь: тебя обманули. Но всеми силами сопротивляешься: не желаешь принять очевидное.

— Ты не готов вынести приговор? Почему?

— Да потому что там, где обманули, есть «кто-то»... – и он вместо тебя. Получается, приговор касается и меня в том числе; не сегодня – с приговором.

— Хочешь и дальше оставаться незаменимым?

— Да, хочу! До конца и незаменимым.

«Нуу... придумай что-нибудь правдоподобное. Не молчи. Я проглочу любую чушь. Я согласен на чушь».

— А если это правда? Тогда как?

— Мне плевать на чужую правду. «Она» – моя правда!

...В другой раз – клянусь! – я буду осмотрительней и обязательно позвоню заранее. Ты успеешь – я клянусь! Придумай сейчас – и мы вместе посмеёмся. У нас ведь всё «окей»? Это где-то там: недоверие, обман, измены... А у нас – у нас «окей»! К чему скандалить? Было для этого время. Не воспользовались. Сейчас только людей смешить. И не стоит принижать наших отношений...

Мы уже давно матёрые артисты. Всё будет хо-ро-шо: тихо, мирно, без эксцессов.

— Договорились?

— Договорились.

— Вот и славно, вот и хорошо. Спокойной нам ночи. Здорово, что у нас богатый жизненный опыт. Мы в совершенстве овладели наукой «как сохранить отношения, когда их и в помине нет».

Одна беда – эта проклятая бессонница...

## **Что-то там есть**

...Такое ощущение, что все мысли мира свободно парят над нашими головами. А кто-то там, наверху, решает, кому какую доверить. И если миллионы людей одержимы одним желанием, одной идеей, то ему и стараться особо не надо...

Открывается нужный канал – и, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Никаких хлопот. Мысли и желания одинаковы, действия и поступки ожидаемы...

...Но тут, откуда ни возьмись, появляется «умник». И небо вздрагивает: «С этим держи ухо востро. Этот такое навывдумывает. Где для него собрать требуемую им «мозаику»? Как успеть, если эта «мозаика» живёт одно мгновение и на смену является новая?»



— Хорошо, когда пользуются привычным набором желаний. Мыслят стандартно. А у этого уже ученики появились...

— Он наш или к нам на время? Он как сюда попал?

— Загляните в его глаза – и вы удивитесь: в них затаилась мудрость Создателя.

— Он снова пришёл?! А я, как всегда, с дырявым мешком за спиной суечусь – на самом верху, над головами...

— Глаза! Надо видеть глаза! Я бы узнал Его глаза... Но как увидишь, если Он внизу, у самых ног?..

— А я так старался наверх, поближе к Нему...

— К Нему ли? Снова оправдания...

— Поздно! Вокруг Него не протолкнуться...

...Надо что-то менять и... меняться самим. Внизу, у самых ног, – не топтать, не проходить... И мешок? Кто придумал этот мешок?

И так раз за разом. Одни приходят: смотрят, смотрят – уходят; другие приходят: видят – и возвращаются...

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Ранение . . . . .	5
Глава 2. Госпиталь . . . . .	9
Глава 3. Пробуждение . . . . .	12
Глава 4. Лиза . . . . .	20
Глава 5. Михайло . . . . .	27
Глава 6. Проповедь . . . . .	33
Глава 7. Лиха беда начало . . . . .	36
Глава 8. Непохожий . . . . .	45
Глава 9. Лена . . . . .	48
Глава 10. Наталья Петровна . . . . .	52
Глава 11. С глазу на глаз . . . . .	58
Глава 12. Письмо . . . . .	63
Глава 13. На островах . . . . .	70
Глава 14. Приданое с того света? . . . . .	77
Глава 15. Рукопись . . . . .	80
Глава 16. Запретная история . . . . .	84
Глава 17. Беда . . . . .	90
Глава 18. Испытание . . . . .	96
Глава 19. Обратный отсчёт . . . . .	100
Глава 20. Скорый Москва – Владивосток . . . . .	105
Глава 21. Жизненный круг . . . . .	112
Глава 22. Встречи – расставания . . . . .	117
Эпилог . . . . .	120

**Рассказы**

Генка . . . . .	125
Санёк . . . . .	130
Гадалка . . . . .	135
Серёга . . . . .	140
Пашка . . . . .	144

**Миниатюры, эссе, новеллы**

Ангара . . . . .	155
Закат на Белой . . . . .	156
Платье белое . . . . .	157
Депрессия . . . . .	158
Бессонница . . . . .	159
Что-то там есть. . . . .	160

Анатолий Жилкин

---

# Испытание верою

Оригинал-макет

Асриев В.А.

Корректор

Зритнева Я.Ю.

Книга напечатана в авторской редакции.

Формат: 148x210 мм.

Гарнитура: «Franklin Gothic Book».

Печать цифровая.